

МЕМОАРЫ
И ДНЕВНИКИ



ГЕНЕРАЛ
ВРАНГЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

1916—1920

Петр Врангель
Воспоминания. 1916-1920

«Центрполиграф»

Врангель П. Н.

Воспоминания. 1916-1920 / П. Н. Врангель — «Центрполиграф»,

Вниманию читателей предлагаются воспоминания генерала Петра Николаевича Врангеля, охватывающие период с 1916 г., кануна революции, до 1920 г., когда на последнем этапе Гражданской войны в России П.Н. Врангель стал главнокомандующим белой Русской Армией. Уникальные воспоминания вышли в свет в серии «Летопись Белой борьбы» вскоре после кончины П.Н. Врангеля под редакцией А.А. фон Лампе. Они подтверждают справедливость девиза этого древнего баронского рода, всегда ставившего честь превыше всего: «Погибаю, но не сдаюсь». Книга воспроизводит текст, опубликованный издательством «Посев» в 1969 г. в Германии с экземпляра дочери мемуариста баронессы Елены Петровны Мейендорф. Книга является 3-й по счету в издательском проекте «Мемуары и дневники», реализуемом издательством «Центрполиграф» совместно с Российским Дворянским Собранием. Как и вся серия, она рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей, а также на государственных и общественно-политических деятелей, причастных к формированию новых духовных ценностей возрождающейся России.

© Врангель П. Н.

© Центрполиграф

Содержание

От редакции «Летописей белой борьбы»	5
Часть первая	7
Глава I	7
Накануне переворота	7
На Румынском фронте	13
На фронте и в тылу в дни переворота	16
Первые шаги нового правительства	23
Наступление революционной армии	28
Корниловские дни	34
Накануне большевиков	38
Под большевицкой[6] пятой	42
На Украине и в Белоруссии	50
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Петр Николаевич Врангель

Воспоминания. В 2 частях. 1916-1920

От редакции «Летописей белой борьбы»

В очередных п я т о й и ш е с т о й книгах летописи редакция временно отходит от своего намерения посвящать каждую книгу п я т и фронтам борьбы против коммунизма и отдает о б е книги одному Ю ж н о м у ф р о н т у и в частности «З а п и с к а м» Главнокомандующего Русской Армией генерала барона П е т р а Н и к о л а е в и ч а В р а н г е л я.

Исключительная личность автора печатаемых записок, его руководящая роль во время самой борьбы, всеобъемлющее значение, которое имел он в истории б е л о й борьбы, и, наконец, олицетворение в нем для большинства русских людей, как находящихся за рубежом, так и оставшихся в России, самой идеи б е л о й борьбы, которая всем им представляется неоконченной и по сей день, дает редакции уверенность в том, что решение ее отойти от установленного порядка покоится на правильном основании.

Редакция не считает себя компетентной давать характеристику и оценку личности генерала П.Н. Врангеля. При жизни он всецело принадлежал родине, теперь он принадлежит истории. Его записки обрисовывают его исключительно кипучую деятельность с ноября 1916 года по ноябрь 1920 года. Подвиг его по сохранению русского беженства и возглавлявшейся им Армии после эвакуации Крыма, несомненно, найдет своих историков. Редакция только почи-тает своим долгом в краткой заметке привести историю печатаемых в летописи «З а п и с о к».

После каждой главы записок приведены даты, указывающие на день, когда данная глава была закончена. Отсюда видно, что, начав писать первую главу на яхте «А у к у л л» и закончив ее к 28 июля 1921 года, генерал Врангель кончил последнюю главу своих воспоминаний уже в Сербии, в С р е м с к и х К а р л о в н а х, 30 декабря 1923 года.

Материал для каждой главы подготавливался, по указаниям автора, его личным секретарем Н.М. Котляревским, изучался и продумывался генералом Врангелем, который потом диктовал текст главы своему секретарю и после того еще несколько исправлял написанное, и только в феврале 1928 года, то есть за два месяца до своей безвременной кончины, генерал Врангель принял решение окончательно подготовить свою рукопись к печати.

Для этого вся работа была вновь пересмотрена Главнокомандующим, совместно с редак-тором летописи, находившимся тогда в Брюсселе, и была сокращена примерно на $\frac{1}{8}$ своего объема. После этого генерал Врангель, как бы предчувствуя, что ему надо спешить с решением вопроса об издании его труда, передал всю свою работу в распоряжение редакции летописи, отказавшись от какого-либо гонорара, и вместо него поставил редакции условие, чтобы части Армии, воинские союзы и отдельные чины их при покупке книг, заключающих его работу, пользовались бы возможно большей скидкой.

В процессе редакционной обработки рукописи редакция предполагала внести в работу ряд тех или иных изменений путем непосредственных сношений с генералом Врангелем...

Но судьба, как и всегда, была жестока к б е л ы м, и 25 апреля последний Главнокоман-дующий Русской Армией, после продолжительной болезни, скончался... С одра болезни, уже в марте 1928 года, он прислал еще ряд указаний о тех изменениях в рукописи, которые он нашел нужным сделать, тогда же он с удовлетворением высказал уверенность, что его записки скоро увидят свет...

Собственноручно написанное им предисловие носит на себе дату 1 марта 1928 года... это одна из последних подписей почившего вождя. Это во всей книге единственная дата по

новому стилю – все остальные сделаны по стилю старому, который, как известно, был принят на Юге России во время Гражданской войны.

После кончины генерала Врангеля, готовя рукопись его к печати, редакция ограничилась только самыми необходимыми редакционными исправлениями, сдавая в печать рукопись в том виде, в каком она была принята от автора. Кроме того экземпляра рукописи, который был передан в летопись, существовал второй, в котором сохранено все то, что было изъято из рукописи во время переработки ее в феврале 1928 г. Экземпляр этот хранился в личном архиве генерала Врангеля.

Портретов генерала Петра Николаевича Врангеля, печатаемых в начале пятой и шестой книг летописи, при рукописи не было. Они помещены уже по инициативе редакции.

Посвященные почившему герою две книги нашей летописи да будут основой для описания того, как жил и боролся за счастье России один из лучших ее сынов. Дальнейшее, мы уверены, сделают его соратники и спасенные им от лютой смерти русские люди!

А. фон-Лампе

Настоящие заметки не предназначались на печать и восторжеского юбилейского издательства. Я записывал то, чему был свидетелем или участником. Не имела того, чтобы и авторская оценка и оценка событий, и оценка в целом, и оценка отдельных фактов. Я не хотел, чтобы эти заметки были восприняты как нечто и на будущее имели значение. Я не хотел, чтобы эти заметки были восприняты как нечто и на будущее имели значение. Я не хотел, чтобы эти заметки были восприняты как нечто и на будущее имели значение.

П. Н. Врангель.
г. Берлин.

П. Врангель

(Уменьшено с оригинала в 1¹/₂ раза.)

Часть первая

Глава I СМута и развал армии

Накануне переворота

После кровопролитных боев лета и осени 1916 года к зиме на большей части фронта операции затихли. Войска укрепляли с обеих сторон занятые ими рубежи, готовились к зимовке, налаживали тыл и пополняли убыль в людях, лошадях и материальной части за истекший боевой период.

Двухлетний тяжелый опыт войны не прошел даром: мы многому научились, а дорого обошедшиеся нам недочеты были учтены. Значительное число старших начальников, оказавшихся не подготовленными к ведению боя в современных условиях, вынуждены были оставить свои посты; жизнь выдвинула ряд способных военачальников. Однако протекционизм, свивший себе гнездо во всех отраслях русской жизни, по-прежнему сплошь и рядом выдвигал на командные посты лиц далеко не достойных. Шаблон, рутина, боязнь нарушить принцип старшинства все еще царили, особенно в высших штабах.

Состав армии за два года успел существенно измениться, выбыла большая часть кадровых офицеров и солдат, особенно в пехоте.

Новые офицеры ускоренных производств, не получившие воинского воспитания, чуждые военного духа, воспитателями солдат быть не могли. Они умели столь же красиво, как и кадровое офицерство, умирать за честь родины и родных знамен, но, оторванные от своих занятий и интересов, глубоко чуждых духу армии, с трудом переносили неизбежные лишения боевой жизни, ежеминутную опасность, голод, холод и грязь, они быстро падали духом, тяготились войной и совершенно неспособны были поднять и поддержать дух своих солдат.

Солдаты после 2 лет войны, в значительной массе, также были уже не те. Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на все перенесенные тяготы и лишения, втянулись в условия боевой жизни; но остальная масса, те пополнения, которые беспрерывно вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух. Состоя в значительной степени из запасных старших сроков, семейных, оторванных от своих хозяйств, успевших забыть пройденную ими когда-то воинскую школу, они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой и жаждали мира. В последних боях сплошь и рядом наблюдались случаи «самострелов», пальцевые ранения с целью отправки в тыл стали особенно часты. Наиболее слабы по составу были третьеочередные дивизии.

Подготовка пополнений в тылу, обучение их в запасных частях стояли в общем весьма низко. Причин этому было много: неправильная постановка дела, теснота и необорудованность казарм, рассчитанных на значительно меньшее количество запасных кадров, а главное отсутствие достаточного количества опытных и крепких духом офицеров и унтер-офицеров инструкторов. Последние набирались или из инвалидов, или из зеленой молодежи, которой самой надо было учиться военному делу. Особенно резко все эти недочеты сказывались в пехоте, где потери и убыль кадровых элементов были особенно велики.

Со всем этим армия все еще представляла собою грозную силу, дух ее был все еще силен, и дисциплина держалась крепко. Мне неизвестны случаи каких-либо беспорядков или массовых выступлений в самой армии, и для того, чтобы они стали возможными, должно было быть

уничтожено самое понятие о власти и дан наглядный пример сверху возможности нарушить связывающую офицеров и солдат присягу.

Двухлетняя война не могла не расшатать нравственные устои армии. Нравы огрубели; чувство законности было в значительной мере утеряно. Постоянные реквизиции, – неизбежное следствие каждой войны, – поколебали понятие о собственности. Все это создавало благоприятную почву для разжигания в массах низменных страстей, но, повторяю, необходимо было, чтобы искра, зажегшая пожар, была бы брошена извне.

В этом отношении много старались те многочисленные элементы, которыми за последние месяцы войны обрастала армия, особенно в ближайшем тылу; «земгусары», призывного возраста и отличного здоровья, но питающие непреодолимое отвращение к свисту пуль или разрыву снаряда, с благосклонного покровительства и помощью оппозиционной общественности, заполнили собою всякие комитеты, имевшие целью то устройство каких-то читален, то осушение окопов. Все эти господа облакались во всевозможные формы, украшали себя шпорами и кокардами и втихомолку обрабатывали низы армии, главным образом прапорщиков, писарей, фельдшеров и солдат технических войск из «интеллигенции».

Офицерство и главная масса солдат строевых частей перед лицом смертельной опасности, поглощенные мелочными заботами повседневной боевой жизни, почти лишенные газет, оставались чуждыми политике. Часть строевого офицерства лишь слабо отражала настроения, слухи и разговоры ближайших крупных штабов. Конечно, высший командный состав не мог оставаться безучастным к той волне общего политического недовольства и тревоги, которая грозно нарастала в тылу и несомненно грозила отразиться на нашем военном положении.

Становилось все более и более ясным, что там в Петербурге неблагополучно. Беспрерывная смена министров, непрекращающиеся конфликты между правительством и Думой, все растущее количество петиций и обращений к Государю различных общественных организаций, требовавших общественного контроля, наконец, тревожные слухи о нравственном облике окружавших Государя лиц – все это не могло не волновать тех, кому дороги были Россия и армия.

Одни из старших начальников, глубоко любя родину и армию, жестоко страдали при виде роковых ошибок Государя, видели ту опасность, которая нарастала, и, искренне заблуждаясь, верили в возможность «дворцового переворота» и «бескровной революции». Ярким сторонником такого взгляда являлся начальник Уссурийской конной дивизии генерал Крымов, в дивизии которого я в то время командовал 1-м Нерчинским казачьим Наследника Цесаревича полком. Выдающегося ума и сердца человек, один из самых талантливых офицеров генерального штаба, которых приходилось мне встречать на своем пути, он последующей смертью своею и предсмертными словами: «Я умираю потому, что слишком люблю родину», доказал свой патриотизм. В неоднократных спорах со мною в длинные зимние вечера он доказывал мне, что так дальше продолжаться не может, что мы идем к гибели и что должны найтись люди, которые ныне же, не медля, устранили бы Государя «дворцовым переворотом»...

Другие начальники сознавали, что изменить положение вещей необходимо, но сознавали вместе с тем, что всякий переворот, всякое насильственное выступление в то время, когда страна ведет кровавую борьбу с внешним врагом, не может иметь места, что такой переворот не пройдет безболезненно и что это будет началом развала армии и гибели России.

Наконец, среди старшего командного состава было немалое число и «приемлющих революцию» в чаянии найти в ней удовлетворение для своего честолюбия или свести счеты с тем или другим неугодным начальником. Я глубоко убежден, что ежели бы с первых часов смуты ставка и все командующие фронтами были бы тверды и единодушны, отрешившись от личных интересов, развал фронта, разложение армии и анархию в тылу можно было бы еще остановить.

Зима 1916 года застала меня командиром 1-го Нерчинского казачьего Наследника Цесаревича полка, входившего в состав Уссурийской конной дивизии генерала Крымова. Кроме моего, в состав дивизии входили Приморский драгунский полк, который только что сдал старый его командир генерал Одинцов, оказавшийся впоследствии одним из видных генералов красной армии, Уссурийский и Амурский казачьи полки. Уссурийская дивизия, составленная из сибирских уроженцев, отличных солдат, одинаково хорошо дерущихся как на коне, так и в пешем строю, под начальством генерала Крымова успела приобрести себе в армии заслуженную славу. Полк, которым я командовал уже более года, только что за блестящую атаку 22 августа в Лесистых Карпатах был награжден высоким отличием – Наследник Цесаревич был назначен шефом полка.

С отходом дивизии в армейский резерв, в Буковину, в район местечка Радауц, я должен был во главе депутации от полка отправиться в Петербург для представления молодому шефу. Депутация вела с собой маленького забайкальского коня, отличных форм, который должен был быть подведен Наследнику, и везла с собой полную форму Нерчинского полка для поднесения Цесаревичу.

В состав депутации входили: старший полковник полка Маковкин – блестящий офицер, потерявший в течение войны глаз, кавалер Георгиевского оружия, отличный спортсмен, дважды бравший Императорский приз на Красносельских скачках; командир 3-й сотни, наиболее отличившейся в упомянутой атаке, есаул Кудрявцев и полковой адъютант сотник Влесков.

Выбрать офицеров в состав депутации было нелегко, всем хотелось удостоиться этой чести, да и общий состав офицеров был таков, что трудно было наметить наиболее достойных. Нерчинский казачий полк отличался и до войны прекрасным офицерским составом. Полком долго командовал полковник Павлов, б. Лейб-Гусар, оставивший родной полк в начале японской войны и после кампании продолжавший службу на Дальнем Востоке. В описываемое время генерал Павлов стоял во главе кавалерийского корпуса на Северном фронте. Блестящий офицер, выдающийся спортсмен и знаток лошади полковник Павлов сумел, командуя Нерчинским казачьим полком, в суровых условиях и на далекой окраине, поднять полк на исключительную высоту. Горячий сторонник чистокровной лошади, полковник Павлов сумел акклиматизировать чистокровного коня и в суровом климате Сибири. Он посадил всех офицеров полка на чистокровных лошадей, завел офицерскую скаковую конюшню, и, за последние перед войной годы, ряд офицерских скачек на петроградском ипподроме был выигран офицерами полка на лошадях полковой конюшни. Высоко поддерживая уровень строевой службы, полковник Павлов требовал от офицеров и соответствующих моральных качеств, тщательно подбирая состав полка. Ко времени назначения моего командиром полка большинство старых офицеров были офицеры, начавшие службу при полковнике Павлове. Со своей стороны мне удалось привлечь в полк ряд прекрасных офицеров.

Большинство офицеров Уссурийской дивизии, и в частности Нерчинского полка, во время гражданской войны оказались в рядах армии адмирала Колчака, собравшись вокруг атамана Семенова и генерала Унгерна. В описываемое мною время оба эти генерала, коим суждено было впоследствии играть видную роль в гражданской войне, были в рядах Нерчинского полка, командуя 6-й и 5-й сотнями; оба в чине подъесаула.

Семенов, природный забайкальский казак, плотный коренастый брюнет, с несколько бурятским типом лица, ко времени принятия мною полка, состоял полковым адъютантом и в этой должности прослужил при мне месяца четыре, после чего был назначен командиром сотни. Бойкий, толковый, с характерной казанкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семенову не хватало ни образования

(он кончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план гражданской войны.

Подъесаул барон Унгерн-Штернберг, или подъесаул «барон», как звали его казаки, был тип несравненно более интересный.

Такие типы, созданные для войны и эпохи потрясений, с трудом могли ужиться в обстановке мирной полковой жизни. Обыкновенно, потерпев крушение, они переводились в пограничную стражу или забрасывались судьбою в какие-либо полки на Дальневосточную окраину или Закавказье, где обстановка давала удовлетворение их беспокойной натуре.

Из прекрасной дворянской семьи лифляндских помещиков, барон Унгерн с раннего детства оказался предоставленным самому себе. Его мать, овдовев, молодой вышла вторично замуж и, по-видимому, перестала интересоваться своим сыном. С детства мечтая о войне, путешествиях и приключениях, барон Унгерн с возникновением японской войны бросает корпус и зачисляется вольноопределяющимся в армейский пехотный полк, с которым рядовым проходит всю кампанию. Неоднократно раненный и награжденный солдатским Георгием, он возвращается в Россию и, устроенный родственниками в военное училище, с превеликим трудом кончает таковое.

Стремясь к приключениям и избегая обстановки мирной строевой службы, барон Унгерн из училища выходит в Амурский казачий полк, расположенный в Приамурье, но там остается не долго. Необузданный от природы, вспыльчивый и неуравновешенный, к тому же любящий запивать и буйный во хмелю, Унгерн затевает ссору с одним из сослуживцев и ударяет его. Оскорбленный пашкой ранит Унгерна в голову. След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и несомненно периодами отражаясь на его психике. Вследствие ссоры оба офицера вынуждены были оставить полк.

Возвращаясь в Россию, Унгерн решает путь от Владивостока до Харбина проделать верхом. Он оставляет полк, верхом в сопровождении охотничьей собаки и с охотничьим ружьем за плечами. Живя охотой и продажей убитой дичи, Унгерн около года проводит в дебрях и степях Приамурья и Маньчжурии и, наконец, прибывает в Харбин. Возгоревшаяся Монголо-Китайская война застает его там. Унгерн не может оставаться безучастным зрителем. Он предлагает свои услуги монголам и, предводительствуя монгольской конницей, сражается за независимость Монголии. С началом Русско-Германской войны Унгерн поступает в Нерчинский полк и с места проявляет чудеса храбрости. Четыре раза раненный в течение одного года, он получает орден Св. Георгия, Георгиевское оружие и ко второму году войны представлен уже к чину есаула.

Среднего роста, блондин, с длинными, опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии, он живет войной. Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания – это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу, среди казаков сотни, ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека совершенно от них отрешившегося. Тщетно пытался я пробудить в нем сознание необходимости принять хоть внешний офицерский облик.

В нем были какие-то странные противоречия: несомненный, оригинальный и острый ум и рядом с этим поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость и рядом с этим безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта.

Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты. В течение этой смуты он не мог не быть хоть временно выброшенным на гребень волны, и с прекращением смуты он также неизбежно должен был исчезнуть.

Я выехал в Петербург в середине ноября; несколькими днями позже должны были выехать офицеры, входившие в состав депутации.

Последний раз я был в Петербурге около двух месяцев назад, когда приезжал лечиться после раны, полученной при атаке 22 августа. Общее настроение в столице еще ухудшилось со времени последнего моего посещения; во всех слоях общества чувствовались растерянность, сознание неизбежности в ближайшее время чего-то огромного и важного, к чему роковыми шагами шла Россия. В то же время, если в среде кругов близких к Думе и Государственному Совету, среди так называемой «общественности» и была видимость какой-то напряженной работы, в сущности не шедшей дальше словопрений и политической борьбы, если в рабочей среде и в тыловых воинских частях и велась глухо более планомерная разрушительная работа, конечно, не без участия немецкого золота, то широкие слои населения проявляли обычную инертность, погрязши всецело в мелких заботах повседневной жизни. Так же стояли хвосты у лавок, так же полны были кинематографы и театры, те же серые обывательские разговоры слышались в толпе.

В верхах, близких к Государю и двору, по-видимому, продолжали не отдавать себе отчета в надвигающейся грозе. Высшее общество и высшая бюрократия были, казалось, всецело поглощены обычными «важными» вопросами, кто куда будет назначен, что говорится в партии Великого Князя или Императрицы... Светская жизнь шла своей обычной чередой, и казалось, что кругом меня не участники грядущей драмы, а посторонние зрители.

Через несколько дней после приезда я назначен был дежурным флигель-адъютантом к Его Императорскому Величеству. Мне много раз доводилось близко видеть Государя и говорить с Ним. На всех видевших Его вблизи Государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт характера Государя – прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой.

Ум Государя был быстрый, Он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту; как-то, говоря о Карпатских боях, где я участвовал со своим полком, Государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца за полтора до разговора моего с Государем, и участок, занятый дивизией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение.

Я вступил в дежурство в Царском Селе в субботу, сменив флигель-адъютанта герцога Николая Лейхтенбергского. Государь в этот день завтракал у Императрицы. Мне подан был завтрак в дежурную комнату. После завтрака Государь гулял, а затем принял нескольких лиц, сколько я помню, вновь назначенного министром здравоохранения профессора Рейна и министра финансов Барка.

Обедали на половине Императрицы. Кроме меня, посторонних никого не было, и я обедал и провел вечер один в Семье Государя. Государь был весел и оживлен, подробно расспрашивал меня о полку, о последней блестящей атаке полка в Карпатах. Разговор велся частью на русском, частью, в тех случаях, когда Императрица принимала в нем участие, на французском языке. Я был поражен болезненным видом Императрицы. Она значительно осунулась за последние два месяца, что я Ее не видел. Ярко выступали красные пятна на лице. Особенно поразило меня болезненное и как бы отсутствующее выражение ее глаз. Императрица, главным образом, интересовалась организацией медицинской помощи в частях, подробно расспрашивала о новом типе только что введенных противогазов. Великие Княжны и Наследник были

веселы, шутили и смеялись. Наследник, недавно назначенный шефом полка, несколько раз задавал мне вопросы – какие в полку лошади, какая форма... После обеда перешли в гостиную Императрицы, где пили кофе и просидели еще часа полтора.

На другой день, в воскресенье, я сопровождал Государя, Императрицу и Великих Князей в церковь, где Они присутствовали на обедне. Маленькая, расписанная в древнерусском стиле, церковь была полна молящихся. Видя, как молится Царская Семья, я невольно сравнивал спокойное, полное глубокого религиозного настроения лицо Государя с напряженным, болезненно экзальтированным выражением Императрицы. По возвращении из церкви я застал уже во дворце прибывшего сменить меня флигель-адъютанта графа Кутайсова.

26 ноября, в день праздника кавалеров ордена Св. Георгия, все кавалеры Георгиевского креста и Георгиевского оружия были приглашены в Народный дом, где должен был быть отслужен в присутствии Государя торжественный молебен и предложен обед всем Георгиевским кавалерам¹.

Имея орден Св. Георгия и Георгиевское оружие, я был среди присутствующих.

Громадное число Георгиевских кавалеров, офицеров и солдат, находившихся в это время в Петрограде, заполнили театральный зал дома. Среди них было много раненых. Доставленные из лазаретов тяжелораненые располагались на сцене на носилках. Свита и приглашенные стояли в партере вплотную к сцене. Вскоре прибыл Государь с Императрицей. По отслужении молебна генерал-адъютант Принц Александр Петрович Ольденбургский взойшел на сцену, поднял чарку и провозгласил здравицу Государю Императору и Августейшей Семье. Государь Император выпил чарку и провозгласил «ура» в честь Георгиевских кавалеров, после чего Он и Императрица обходили раненых, беседуя с ними. Я вновь, наблюдая за Императрицей, беседовавшей, наклонившейся над носилками тяжелораненого, обратил внимание на болезненное выражение ее лица. Она, внимательно расспрашивая больного, в то же время, казалось, отсутствовала где-то. Видимо, выполняя что-то обязательное и неизбежное, Она мыслями была далеко.

Наконец прибыли в Петербург офицеры депутации. Представление было назначено в Царском днем 4 декабря перед самым назначенным в этот день отъездом Государя в ставку.

Отправив утром предназначенную быть подведенной Наследнику лошадь, посаженную маленьким казачьим седлом, я выехал с депутацией по железной дороге, везя заказанную для Наследника форму полка. Поезд наш должен был прибыть в Царское за полчаса до назначенного для представления Государю депутации часа, и я рассчитывал, что успею до представления депутации доложить Государю о моих офицерах, дабы Государю легко было задавать вопросы представляющимся.

Вследствие какой-то неисправности пути поезд наш опоздал, и мы едва успели, сев в высланные за нами кареты, прибыть к назначенному часу во дворец. Встреченные дежурным флигель-адъютантом, мы только что вошли в зал, как Государь в сопровождении Наследника вышел к нам. Я представил Государю офицеров, и, сверх моего ожидания, Государь совершенно свободно, точно давно их знал, каждому задал несколько вопросов; полковника Маковского Он спросил, в котором году он взял Императорский приз; есаулу Кудрявцеву сказал, что знает, как он во главе сотни 22 августа первый ворвался в окопы противника... Я лишний раз убедился, какой острой памятью обладал Государь – во время последнего моего дежурства я вскользь упомянул об этих офицерах, и этого было достаточно, чтобы Государь запомнил эти подробности.

После представления Государь с Наследником вышли на крыльцо, где осматривали подведенного депутацией коня. Тут же на крыльце Царскосельского дворца Государь с Наследником снялся в группе с депутацией.

¹ Здесь и далее сохранены прописные буквы оригинала. (Примеч. изд.)

Это, вероятно, одно из последних изображений Государя во время Его царствования, и это последний раз, что я видел Русского Царя.

На Румынском фронте

Накануне представления Государю депутации я получил телеграмму от генерала Крымова с сообщением о переброске Уссурийской конной дивизии в Румынию и приказание немедленно прибыть в армию всем офицерам и солдатам дивизии, находящимся в командировках и отпусках.

На другой день после представления депутации я, собрав моих офицеров и казаков, находившихся в Петербурге по разного рода причинам, выехал на фронт. По дороге к нам присоединилось еще несколько офицеров и казаков, вызванных из отпусков или командировок и следовавших в армию.

До границы Румынии мы ехали беспрепятственно, но уже на самой границе стало ясно, что добраться до дивизии будет не так-то легко. Поспешная и беспорядочная эвакуация забила поездными составами все пути. Румынские войска продолжали на всем фронте отходить, и новые и новые поездные составы с ранеными, беженцами и войсковыми грузами непрерывно прибывали, все более и более загромождая тыл. Пассажирское движение было приостановлено, в сутки отправлялся к югу лишь один пассажирский поезд, целыми часами простаивавший на всех станциях. Здесь впервые увидел я ставшее впоследствии столь обыкновенным путешествие на крышах вагонов. Не только крыши вагонов, но и буфера и паровозы были облеплены пассажирами. Со мной было человек шесть офицеров и человек двадцать солдат. Я решил обратиться к румынскому коменданту, оказавшемуся чрезвычайно любезным офицером, отлично говорившим по-французски (вообще французский язык широко распространен в Румынии). После каких-то переговоров по аппарату с Яссами он любезно предоставил в мое распоряжение два вагона, из коих один II класса для офицеров, другой III класса для солдат.

Прицепляясь к следовавшим на юг эшелонам, мы, хотя и весьма медленно, стали продвигаться к фронту. Буфеты на станциях оказались совершенно пустыми, все было съедено, в нетопленных вагонах холод был неописуемый, и мы считали часы, когда наконец окончится наш тяжелый путь. На станции Бырлат мы узнали, что через полчаса в направлении на станцию Текучи (я уже знал, что в этом пункте стоят обозы дивизии) идет пассажирский экспресс. Комендант станции обещал мне прицепить мои вагоны к поезду и пригласил пока к себе обогреться и выпить чаю. Я просил прицепить мои вагоны непосредственно за паровозом, дабы возможно быстро прогреть их, что он и обещал сделать. Однако по какому-то недоразумению вагон, в котором я следовал с офицерами, оказался прилепленным в хвост поезда. Это спасло нам жизнь. Не доходя 15 верст до станции Текучи экспресс на шестидесятиверстной скорости врезался в следовавший на север эшелон. Четырнадцать передних вагонов было разбито в щепы, и несколько сот человек было убито и ранено. Наш вагон оказался висевшим над насыпью, и все мы попадали с наших мест; однако никто не пострадал. Трудно передать жуткую картину; в полной темноте из-под обломков вагонов неслись крики, стоны и плач. Некоторые вагоны загорелись, и много несчастных раненых погибло в огне.

Оставив при вещах двух казаков, мы пешком дошли до станции Текучи, откуда, разыскав наш обоз, выслали за багажом. В тот же день я на автомобиле с адъютантом выехал на Фокшаны по ужасному, разбитому непрерывным движением обозов и распутицей шоссе.

Мы двигались едва ли со скоростью 4–5 верст в час; шоссе и вся местность по сторонам его были покрыты тянущимися на север обозами, толпами жителей и оборванных, большей частью без винтовок, солдат. Я увидел характерный отход разбитой и стихийно отступавшей армии. Вперемешку с лазаретными линейками, зарядными ящиками и орудиями следовали

коляски, тележки с женщинами и детьми среди гор свертков, коробок и всякого домашнего скарба.

Не могу забыть элегантного ландо с двумя отлично одетыми румынскими офицерами и несколькими нарядными дамами, запряженного уносными артиллерийскими конями в артиллерийском уборе...

Поздней ночью я встретил дивизию, отходившую на линию реки Серета. Мы простояли несколько дней на этой линии, а затем, смененные пехотой, усиленными переходами перешли в район Галана, где сосредотачивалась крупная масса конницы, объединить которую должен был генерал от кавалерии граф Келлер. На нашем крайнем левом фланге шли жестокие бои, намечался прорыв нашей пехотой неприятельского фронта, и конницу нашу предполагалось бросить в тыл Макензену. Прорыв не удался, и, напрасно простояв сутки под открытым небом, под проливным дождем, конница вновь была оттянута в тыл. Наша дивизия отошла в район Текучи – Бырлат.

Как-то на одном из переходов во время привала ко мне прибыл от генерала Крымова, шедшего в головном полку, ординарен и передал мне, что начальник дивизии просит меня к себе.

Подъехав к голове колонны, я увидел группу офицеров штаба дивизии, гревшихся вокруг костра и разбиравших только что привезенную почту.

Генерал Крымов, держа в руке несколько скомканных газет, нетерпеливыми большими шагами ходил в стороне. Увидев меня, он еще издали, размахивая газетами, закричал мне:

«Наконец-то, подлеца Гришку ухлопали...»

В газетах был ряд сведений об убийстве Распутина. Прибывшие одновременно письма давали подробности.

Из трех участников убийства я близко знал двух – Великого Князя Дмитрия Павловича и князя Ф.Ф. Юсупова.

Какие чувства руководили ими? Почему, истребив вредного для Отечества человека, они не объявили об этом громко, не отдали себя на суд властей и общества, а, бросив в прорубь труп, пытались скрыть следы? Трудно верилось полученным сообщениям...

10 января я получил известие о состоявшемся назначении моем командиром 1-й бригады Уссурийской конной дивизии, в состав которой входили Приморский драгунский и мой Нерчинский казачий полки. Грустно было расставаться с полком, которым я командовал более 14 месяцев, с которым делил и тягости боевой жизни, и ряд славных побед. Полк принимал старший полковник полка Маковкин, о назначении которого моим заместителем я еще в Петербурге просил Государя и Походного Атамана Великого Князя Бориса Владимировича.

Сдав полк, я, воспользовавшись нахождением дивизии в армейском резерве, проехал на несколько дней в Яссы.

Я остановился в Яссах у посланника нашего А.А. Мосолова, однополчанина моего по Конной Гвардии. Квартиру в Яссах почти невозможно было найти, город был забит массой беженцев и тыловых армейских учреждений. Ожидался приезд Великой Княгини Виктории Феодоровны, сестры Королевы.

Не будучи близок к Великой Княгине, я не счел нужным ей представиться. Однако в день ее приезда ко мне заехал заведующий двором Великой Княгини Гартунг и передал приглашение Великой Княгини на другой день в 10 часов утра прибыть к ней во дворец Королевы, где она остановилась.

В Яссах румынский двор не мог найти достаточно большого помещения и Король и Королева с детьми помещались в разных домах. Королева занимала небольшой двухэтажный особняк на главной улице города; у ворот стоял караул в форме, напоминающей наших Кавалергардов.

Я застал у Великой Княгини занимавшего пост русского коменданта города генерала Казакевича, бывшего Преображенца и флигель-адъютанта. Великая Княгиня задержала нас более часа. Она подробно рассказывала нам о всех последних событиях в Петербурге, об аресте и высылке в Персию Великого Князя Дмитрия Павловича, о коллективном письме, обращенном всеми членами Императорской Фамилии Государю с мольбой о помиловании Великого Князя, об отказе в этом Государя, о немилости, постигшей Великого Князя Николая Михайловича за резкое письмо его к Государю, в котором высказывалась горькая и неприкрашенная правда. По ее словам, все ближайшие к Государю члены Его Семьи ясно видели, какая опасность грозит династии и самой России, одна Государыня не видела или не хотела этого видеть. Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, Сестра Государыни, сама Великая Княгиня Виктория Феодоровна, княгиня Юсупова, мать убийцы Распутина, князя Юсупова, мужа Княжны Ирины Александровны, пытались открыть Императрице глаза, но все было тщетно.

«Я знаю Россию дольше и лучше тебя, – сказала Императрица Великой Княгине Виктории Феодоровне, – ты слышишь только то, что говорится в Петербурге, среди испорченной и далекой от народа аристократии. Ежели бы ты поехала с Государем и со Мной в одну из поездов Наших на фронт, ты бы увидела, как народ и армия обожают Государя».

Императрица, открыв ящик стола, показала Великой Княгине пачку связанных писем:

«Вот, все это письма офицеров и солдат, простых русских людей. Я получаю много таких писем каждый день, все они обожают Государя и просят об одном, чтобы Он был тверд и не уступал всем проискам Думы...»

Великая Княгиня давала понять, что большинство членов Императорской Семьи, и главным образом семья Великой Княгини Марии Павловны, признают необходимость изменить существующий порядок вещей и что в этом отношении с ними единодушен ряд наиболее видных членов Думы... Продолжительный разговор с Великой Княгиней Викторией Феодоровной произвел на меня тягостное впечатление. Я, встречая Великую Княгиню постоянно в Петербурге, никогда к ней не был близок, и самое желание ее видеть меня и откровенное посвящение Ею во все эти подробности показались мне несколько странными.

Дальнейшие события и выступление Великого Князя Кирилла Владимировича во главе «революционного» морского экипажа в один из первых дней переворота объясняют, быть может, многое.

На следующий день я был приглашен обедать к Королеве. Кроме Королевы с дочерьми и Великой Княгини обедали статс-дама Королевы и дежурный флигель-адъютант, гофмейстерина Великой Княгини С.П. Дурново и я. Я сидел с Королевой, которая была так же мила, как и красива. Глядя на Нее, трудно было поверить, что взрослые Великие Княжны Ее дочери. После обеда перешли в гостиную, заваленную привезенными Великой Княгиней подарками для солдат. Я душевно был рад, что разговор не возвращался к тяжелым вопросам, затронутым накануне.

Вернувшись домой, я нашел телеграмму о состоявшемся производстве меня за боевое отличие в генерал-майоры. Генерал Крымов, заболевший за несколько дней до моего отъезда в Яссы, выехал для лечения в Петербург, и в командование дивизией вступил временно командир второй бригады старый полковник Железнов, уральский казак. С производством моим в генералы мне надлежало вступить в командование дивизией, и я выехал на фронт.

В двадцатых числах января дивизия получила приказание перейти в район г. Кишинева. Здесь сосредотачивалась большая часть русской конницы с Румынского фронта. Богатая местными средствами и, главным образом, фуражом, Бессарабия давала возможность нашей коннице занять широкое квартирное расположение и в течение зимнего затишья на фронте подправиться и подкормиться.

Я повел дивизию крупными переходами. Стояла чрезвычайно снежная зима с обычными в этой части Румынии метелями. Однако привычные к зимнему походу забайкальские кони

шли легко, и переход наш во вновь назначенный район мы сделали быстро и без особых затруднений.

Небольшой чистый и благоустроенный губернский город Кишинев, обыкновенно тихий и молчаливый, был необычайно оживлен. Помимо моей дивизии, в ближайшем к городу районе расположены были весь конный корпус генерала Келлера, Туземная, так называемая дикая дивизия, князя Багратиона... Масса офицеров всевозможных кавалерийских и казачьих полков наполняли театры и рестораны.

Радужное кишиневское общество радо было случаю оказать гостеприимство нашим частям и самому повеселиться. Представители местного дворянства и крупного купечества наперерыв устраивали обеды, ужины и балы, и военная молодежь после двух лет тяжелой походной жизни веселилась от души. Через несколько дней после прибытия дивизии кишиневское дворянство устроило для офицеров в Дворянском собрании бал. После танцев перешли в столовую, где на отдельных столах был сервирован ужин, причем дамы сами подавали, присаживаясь к тому или другому столику. Через неделю дивизия давала в том же Дворянском собрании ответный бал кишиневскому обществу. Из окрестных стоянок прибыло два хора трубачей и песенники. Разошлись только с рассветом. Среди беззаботного веселья и повседневных мелочных забот, казалось, отлетели далеко тревоги последних долгих месяцев и ничто не предвещало близкую грозу.

Одиннадцатого февраля прибыл из Петербурга генерал Крымов и дал новый повод местному обществу устроить в честь его ряд обедов и вечеров. Он также был далеко от сознания, что роковой час почти пришел и гроза готова разразиться. Негодуя на ставку и правительство, осуждая «безумную и преступную» политику, приводя целый ряд новых, один другого возмутительнее, примеров произвола, злоупотреблений и бездарности власти, он все же не отдавал себе отчета, что капля, долженствующая переполнить чашу терпения страны, уже повисла в воздухе.

На фронте и в тылу в дни переворота

Штаб дивизии расположился в 18 верстах от Кишинева в господском дворе «Ханки». В самом городе Кишиневе для чинов штаба, приезжавших в город по делам, была отведена небольшая квартира. Части дивизии располагались в окрестных деревнях в 10–12 верстах от города. Первые дни по приезде генерал Крымов жил большей частью в городе, я же помещался при штабе дивизии в господском дворе «Ханки». Первого или второго марта в городе впервые стали передаваться слухи о каких-то беспорядках в Петербурге, о демонстрациях рабочих, о вооруженных столкновениях на улицах города. Ничего определенного, однако, известно не было, и слухам не придавали особого значения.

4 или 5 марта, в то время как я сел ужинать, вернулся из города ординарец штаба дивизии Приморского драгунского полка корнет Квитковский и передал мне о слышанных им в городе слухах о всеобщем восстании в Петербурге и о том, что «из среды Думы выделено будто бы Временное Правительство». Более подробных сведений он дать не мог. Часов в восемь вечера меня вызвал из города к телефону генерал Крымов. По голосу его я понял, что он сильно взволнован.

«В Петербурге восстание, Государь отрекся от престола, сейчас я прочту вам манифест, его завтра надо объявить войскам».

Я просил генерала Крымова обождать и, позвав начальника штаба, приказал ему записывать за мной слова манифеста. Генерал Крымов читал, я громко повторял начальнику штаба отдельные фразы. Закончив чтение манифеста Государя, генерал Крымов стал читать манифест Великого Князя Михаила Александровича. После первых же фраз я сказал начальнику штаба:

«Это конец, это анархия».

Конечно, самый факт отречения Царя, хотя и вызванный неудовлетворенностью общества, не мог тем не менее не потрясти глубоко народ и армию. Но главное было не в этом. Опасность была в уничтожении самой идеи монархии, исчезновении самого Монарха. Последние годы царствования отшатнули от Государя сердца многих сынов отечества. Армия, как и вся страна, отлично сознавала, что Государь действиями Своими больше всего Сам подрывает престол. Передача Им власти Сыну или Брату была бы принята народом и армией не очень болезненно. Присягнув новому Государю, русские люди, так же как испокон веков, продолжали бы служить Царю и родине и умирать за «Веру, Царя и Отечество».

Но в настоящих условиях, с падением Царя, пала сама идея власти, в понятии русского народа исчезли все связывающие его обязательства, при этом власть и эти обязательства не могли быть ничем соответствующим заменены.

Что должен был испытать русский офицер или солдат, сызмальства воспитанный в идее ненарушимости присяги и верности своему Царю, в этих понятиях прошедший службу, видевший в этом главный понятный ему смысл войны...

Надо сказать, что в эти решительные минуты не было ничего сделано со стороны старших руководителей для разъяснения армии происшедшего. Никаких общих руководящих указаний, никакой попытки овладеть сверху психологией армии не было сделано. На этой почве неизбежно должен был произойти целый ряд недоразумений. Разноречивые, подчас совершенно бессмысленные, толкования отречений Государя и Великого Князя (так, один из командиров пехотных полков объяснил своим солдатам, что «Государь сошел с ума») еще более спутали и затемнили в понятии войск положение. Я решил сообщить войскам оба манифеста и с полной откровенностью рассказать все то, что было мне известно, – тяжелое положение в тылу, неудовольствие, вызванное в народе многими представителями власти, обманывавшими Государя и тем затруднявшими проведение в стране мер, необходимых в связи с настоящей грозной войной. Обстоятельства, сопровождавшие отречение Государя, мне неизвестны, но манифест, подписанный Царем, мы, «присягавшие Ему», должны беспрекословно выполнить, так же как и приказ Великого Князя Михаила Александровича, коему Государь доверил Свою власть.

Утром полкам были прочитаны оба акта и даны соответствующие пояснения. Первые впечатления можно характеризовать одним словом – недоумение. Неожданность ошеломила всех. Офицеры, так же как и солдаты, были озадачены и подавлены. Первые дни даже разговоров было сравнительно мало, люди притихли, как будто ожидая чего-то, старались понять и разобраться в самих себе. Лишь в некоторых группах солдатской и чиновничьей интеллигенции (технических команд, писарей, состава некоторых санитарных учреждений) ликовали. Персонал передовой летучки, в которой, между прочим, находилась моя жена, в день объявления манифеста устроил на радостях ужин; жена, отказавшаяся в нем участвовать, невольно через перегородку слышала большую часть ночи смех, возбужденные речи и пение.

Через день, объехав полки, я проехал к генералу Крымову в Кишинев. Я застал его в настроении приподнятом, он был весьма оптимистически настроен. Несмотря на то что в городе повсеместно уже шли митинги и по улицам проходили какие-то демонстрировавшие толпы с красными флагами, где уже попадались отдельные солдаты из местного запасного батальона, он не придавал этому никакого значения; он искренне продолжал верить, что это переворот, а не начало всероссийской смуты. Он горячо доказывал, что армия, скованная на фронте, не будет увлечена в политическую борьбу и «что было бы гораздо хуже, ежели бы все это произошло после войны, а особенно во время демобилизации... Тогда армия просто бы разбежалась домой с оружием в руках и стала бы сама наводить порядки».

От него я узнал впервые список членов Временного Правительства. Из всех них один Гучков был относительно близок к армии, – он находился в составе Красного Креста в Японскую кампанию, а последние годы состоял в Думе председателем комиссии военной обороны,

с 1915 же года во главе военно-промышленного комитета. Однако назначение военным министром человека не военного, да еще во время войны, не могло не вызвать многих сомнений. Генерал Крымов, близко знавший Гучкова, возлагал на него огромные надежды:

«О, Александр Иванович – это государственный Человек, он знает армию не хуже нас с вами. Неужели же всякие Шуваевы только потому, что всю жизнь просидели в военном министерстве, лучше его. Да они ему в подметки не годятся...»

Имя князя Львова было известно как председателя Земского Союза, он имел репутацию честного человека и патриота. Милюков и Шингарев были известны как главные представители кадетской партии – талантливые ораторы... Были и имена совсем неизвестные – Терещенко, Некрасов... Действенного, сильного человека, способного схватить и удержать в своей руке колеблющуюся власть, среди всех этих имен не было.

Крымов передал мне и первые петербургские газеты. Сведения о всем происходившем там, приведенные речи некоторых членов Думы и самочинно образовавшегося совета рабочих и солдатских депутатов предвещали мало хорошего. С места образовалось двоевластие, и Временное Правительство, видимо, не чувствовало в себе силы с ним бороться. В речах даже наиболее правых ораторов чувствовалось желание поддаться под революционную демократию... Больно ударили меня по сердцу впервые прозвучавшие слова о необходимости «примирить» солдат и офицеров, потребовать от офицеров «уважения к личности солдата». Об этом говорил Милюков, в своей речи 2 марта, когда в залах Таврического дворца он впервые упоминал об отречении Государя в пользу Брата...

Последующие дни подтвердили мою тревогу; все яснее становилось, что смута и развал в тылу растут, что чуждые армии и слабые духом люди, ставшие во главе страны, не сумеют уберечь армию от попыток увлечь ее в водоворот. Появился и приказ № 1.

Как-то рано утром генерал Крымов вызвал меня к телефону, он просил меня немедленно прибыть в Кишинев. «Заберите с собой необходимые вещи, – предупредил он, – я прошу вас сегодня же выехать в Петербург».

Я застал генерала Крымова за письмом. В красных чакчирах, сбросив китель, он сидел за письменным столом, вокруг него на столе, креслах и на полу лежал ряд скомканных газет.

«Смотрите, – ткнув пальцем в какую-то газету, заговорил он, – они с ума сошли, там черт знает что делается. Я не узнаю Александра Ивановича², как он допускает этих господ залезать в армию. Я пишу ему. Я не могу выехать сам без вызова и оставить в эту минуту дивизию. Прошу вас поехать и повидать Александра Ивановича...»

Он стал читать мне письмо. В горячих, дышащих глубокой болью и негодованием строках он писал об опасности, которая грозит армии, а с нею и всей России. О том, что армия должна быть вне политики, о том, что те, кто трогают эту армию, творят перед родиной преступление... Среди чтения письма он вдруг, схватив голову обеими руками, разрыдался... Он заканчивал письмо, прося А.И. Гучкова выслушать меня, предупреждая, что все то, что будет мною сказано, он просит считать как его собственное мнение. В тот же вечер я выехал в Петербург.

На станции Жмеринка мы встретили шедший с севера курьерский поезд. Среди пассажиров оказалось несколько очевидцев последних событий в столице. Между ними начальник 12-й кавалерийской дивизии свиты генерал барон Маннергейм (командовавший впоследствии в Финляндии белыми войсками). От него первого, как очевидца, узнал я подробности столичных народных волнений, измены правительству воинских частей, имевшие место в первые же дни случаи убийства офицеров. Сам барон Маннергейм должен был в течение трех дней скитаться по городу, меняя квартиры. Среди жертв обезумевшей толпы и солдат оказалось несколько знакомых: престарелый граф Штакельберг, бывший командир Кавалергардского полка граф

² Гучков.

Менгден, Лейб-Гусар граф Клейнмихель... Последние два были убиты в Луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии.

В Киеве между поездами я поехал навестить семью губернского предводителя Безака. По дороге видел сброшенный толпой с пьедестала, в первые дни после переворота, памятник Столыпина. Безаки оставили обедать. За обедом я познакомился с только что прибывшим из Петербурга членом Думы бароном Штейгером и от него узнал подробности того, что происходило в решительные дни в стенах Таврического дворца. От него впервые услышал я хвалебные отзывы о Керенском. По словам барона Штейгера, это был единственный темпераментный человек в составе правительства, способный владеть толпой. Ему Россия была обязана тем, что кровопролитие первых дней вовремя остановилось.

На станции Бахмач к нам в вагон сел адъютант Великого Князя Николая Николаевича, полковник граф Менгден. Он оставил в Бахмаче поезд Великого Князя, направлявшегося из Тифлиса в Могилев, где Великий Князь должен был принять главное командование. Граф Менгден ехал в Петербург, где у него оставалась семья – жена, дети и брат. Он ничего еще не знал о трагической смерти последнего. Пришлось выполнить тяжелую обязанность сообщить ему об этом. Граф Менгден передал мне, что Великий Князь уже предупрежден о желании Временного Правительства, чтобы Он передал главное командование генералу Алексееву, и что Великий Князь решил, избегая лишних осложнений, этому желанию подчиниться. Я считал это решение Великого Князя роковым. Великий Князь был чрезвычайно популярен в армии как среди офицеров, так и среди солдат. С Его авторитетом не могли не считаться и все старшие начальники: главнокомандующие фронтов и командующие армиями. Он один еще мог оградить армию от грозившей ей гибели, на открытую с Ним борьбу Временное Правительство не решилось бы.

В Царском дебаркадер был запружен толпой солдат гвардейских и армейских частей, большинство из них были разукрашены красными бантами. Было много пьяных. Толкаясь, смеясь и громко разговаривая, они, несмотря на протесты поездной прислуги, лезли в вагоны, забив все коридоры и вагон-ресторан, где я в это время пил кофе. Маленький рыжеватый Финляндский драгун с наглым лицом, папироской в зубах и красным бантом на шинели бесцеремонно сел за соседний столик, занятый сестрой милосердия, и пытался вступить с ней в разговор. Возмущенная его поведением, сестра стала ему выговаривать. В ответ раздалась площадная брань. Я вскочил, схватил негодяя за шиворот и, протаскив к выходу, ударом колена выбросил его в коридор. В толпе солдат загудели, однако никто не решился заступиться за нахала.

Первое, что поразило меня в Петербурге, это огромное количество красных бантов, украшавших почти всех. Они были видны не только на шатающихся по улицам в расстегнутых шинелях, без оружия солдатах, студентах, курсистках, шоферах таксомоторов и извозчиках, но и на щеголеватых штатских и значительном числе офицеров. Встречались элегантные кареты собственников с кучерами, разукрашенными красными лентами, и владельцами экипажей с приколотыми к шубам красными бантами. Я лично видел несколько старых, заслуженных генералов, которые не побрезгали украсить форменное пальто модным революционным цветом. В числе прочих я встретил одного из лиц свиты Государя, тоже украсившего себя красным бантом; вензеля были спороты с погон; я не мог не выразить ему моего недоумения увидеть его в этом виде. Он явно был смущен и пытался отшучиваться: «Что делать, я только одет по форме – это новая форма одежды...» Общей трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властителями многие перестарались. Я все эти дни постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями Наследника Цесаревича на погонах (и, конечно, без красного банта) и за все время не имел ни одного столкновения.

Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко сказались в первые дни смуты, и не только солдаты, младшие офицеры и мелкие чиновники, но и ближайшие к Госу-

дарю лица и сами члены Императорской Фамилии были тому примером. С первых же часов опасности Государь был оставлен всеми. В ужасные часы, пережитые Императрицей и Царскими Детями в Царском, никто из близких к Царской Семье лиц не поспешил к Ним на помощь. Великий Князь Кирилл Владимирович сам привел в Думу гвардейских моряков, и поспешил «явиться» М.В. Родзянке. В ряде газет появились «интервью» Великих Князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они самым недостойным образом порочили отрекшегося Царя. Без возмущения нельзя было читать эти интервью³. Борьба за власть между Думой и самочинным советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась, и Временное Правительство, не находившее в себе сил к открытой борьбе, все более становилось на пагубный путь компромиссов.

Гучков отсутствовал из Петербурга. Я решил его ждать и, зайдя в военное министерство, оставил свой адрес, прося уведомить, когда военный министр вернется. Через день ко мне на квартиру дали знать по телефону, что министр иностранных дел П.Н. Милюков, осведомившись о приезде моем в Петербург с поручением к А.И. Гучкову, просил меня к себе. На другой день утром я был принят весьма любезно Милюковым.

«Александр Иванович Гучков отсутствует, – сказал мне министр, – но я имею возможность постоянно с ним сноситься. Я могу переслать ему ваше письмо, а также постараюсь совершенно точно передать ему все то, что вы пожелали бы мне сообщить. Мы с Александром Ивановичем люди разных партий, – прибавил, улыбаясь, Милюков, – но теперь, как вы понимаете, разных партий нет, да и быть не может».

Передав письмо генерала Крымова министру, я постарался возможно подробнее высказать ему свой взгляд на опасность для армии создавшегося положения. Я указал ему, что в настоящую минуту, когда особенно необходима твердая дисциплина, надлежит всеми мерами поддерживать престиж начальников, что последние приказы расшатывают дисциплину в армии и сами создают пропасть между офицерским составом и солдатами, что требование дисциплины «лишь только в строю» вредно и бессмысленно.

«Сейчас война, и мы все, воины, и офицеры и солдаты, где бы мы ни находились – в окопах, в резерве или в глубоком тылу, мы все время, в сущности, несем службу и находимся «в строю». Новые права солдата, требование обращения к солдатам на «вы», право посещать общественные места, свободно курить и т. д. хорошему солдату в настоящее время не нужны. Русский простолюдин сизмальства привык к обращению на «ты», и в таком обращении он не видит для себя обиды; в окопах и на привалах русские офицеры и солдаты живут вместе, едят из одного котла и закуривают от одной папироски – свободным посещением публичных мест, курением и прочими свободами воспользуются лишь такие солдаты, как те, что шатаются ныне по улицам столицы».

Министр слушал меня весьма внимательно, делая пометки все время в блокноте.

«То, что вы говорите, весьма интересно, я точно передам все это Александру Ивановичу Гучкову. Однако должен заметить, что те сведения, которыми мы располагаем, то, что мы слышим здесь от представителей армии, освещает вопрос несколько иначе».

«Это возможно, – ответил я, – но позвольте спросить вас, о каких представителях армии вы изволите говорить. О тех, что заседают в совете рабочих и солдатских депутатов, неизвестно кем выбранные и кем назначенные, или о тех, которых видел я только что на улицах города, разукрашенных красными бантами. Поверьте мне, что из хороших офицеров и солдат в Петербурге сейчас находятся лишь те, что лежат в лазаретах, и едва ли они могут быть вашими осведомителями. Я не сомневаюсь, что все прочие, кто случайно находился здесь, сейчас уже поспешили вернуться в свои родные части».

³ Многие интервью и сцены могли быть придуманы или фальсифицированы. (Примеч. изд.)

«Конечно, я не берусь судить, Александр Иванович Гучков в этом вопросе компетентнее меня. Вероятно, по его возвращении он пожелает лично вас видеть. Пока будьте уверены, я в точности передам ему все вами сказанное...»

Вернувшись домой, я нашел телеграмму генерала Крымова, он сообщал мне, что вызван военным министром в Петербург, что я назначен временно командующим дивизией и должен немедленно вернуться в Кишинев. С большим трудом достав билет, я в тот же вечер выехал из Петербурга.

15 марта я прибыл в Кишинев. Генерал Крымов, не дождавшись меня, накануне выехал, с ним уехал и начальник штаба дивизии полковник Самарин. Полковник Самарин, по приезде в Петербург, был назначен начальником кабинета военного министра; его заместителем оказался генерального штаба подполковник Полковников, донской казак, через несколько дней после моего приезда прибывший к месту службы. Подполковник Полковников, оказавшийся впоследствии, после корниловских дней, во главе Петербургского военного округа и сыгравший в дни падения Временного Правительства столь печальную роль, в должности начальника штаба дивизии оказался способным, толковым и дельным работником.

Мы переживали тяжелое время. Власть из рук Временного Правительства все более и более ускользала. Это правительство оказывалось бессильным противостоять притязаниям самочинного совета рабочих и солдатских депутатов.

В армии ясно чувствовали все грозные последствия этой слабости и колебания власти и инстинктивно стремились эту власть подкрепить. Ряд войсковых частей обращался с заявлениями к председателю правительства, в коих указывалось на готовность поддержать новую власть и бороться со всеми попытками внести анархию в страну. Такого характера заявления вынесли и все полки Уссурийской дивизии.

К сожалению, Временное Правительство не сумело да, по-видимому, и не решалось опереться на предлагаемую ему самими войсками помощь. Александр Иванович Гучков, который в это время объезжал главнокомандующих фронтами, принимая депутации от разного рода частей, неизменно громко заявлял, что правительство ни в какой помощи не нуждается, что никакого двоевластия нет, что работа правительства и совета рабочих и солдатских депутатов происходит в полном единении.

Не было твердости и единства и в верхах армии. Вместо того чтобы столкнуться и встать единодушно и решительно на защиту вверенных им войск, старшие военачальники действовали вразброд каждый за себя, не считаясь с пользой общего дела. В то время как генерал граф Келлер, отказавшись присягнуть Временному Правительству, пропускал мимо себя, прощаясь с ними, свои старые полки под звуки национального гимна, генерала Брусилова несли перед фронтом войск, в разукрашенном красными бантами кресле, революционные солдаты...

17 марта был день полкового праздника Амурского казачьего полка. Полк этот был включен в состав дивизии сравнительно недавно – весной 1916 года, и по внутреннему порядку своему невыгодно отличался от других полков дивизии. Год тому назад, когда полк находился в Петербурге, неся охрану, в полку была громкая история – убийство казаками своего офицера. Амурские казаки, отличные солдаты, были, в большинстве случаев, народ буйный и строптивый. Полком командовал Амурского казачьего войска полковник Сычев. Подъехав к выстроенному для парада полку, я с удивлением увидел вместо сотенных значков в большинстве сотен красные флаги. Для флагов этих казаки, видимо, использовали «подручный материал», и на флаг одной из сотен, очевидно, пошла юбка из красного ситца с какими-то крапинками. Командир подскакал с рапортом, оркестр заиграл «Марсельезу». Приняв рапорт командира полка, я спросил его, что значит этот маскарад, и услышал неожиданный для меня ответ: «Казаки этого потребовали». Я объявил полковнику Сычеву, что не допускаю никаких «требований» подчиненных, что уставом ясно указано о порядке встречи старших начальников, что при встрече полк обязан играть полковой марш и что цвет значков каждой сотни установлен. Проехав по

фронту, поздоровавшись с сотнями и поздравив их с войсковым праздником, я, став перед фронтом полка, обратился к казакам:

«Я ожидал встретить славный ваш полк под старым своим знаменем, а сотни с их боевыми значками, вокруг которых погибло геройской смертью столько славных амурских казаков. Под этими значками хотел я собрать сегодня вас и выпить за славу Амурского войска и Амурского полка круговую чарку, но под красной юбкой я сидеть не буду и сегодняшний день с вами провести не могу».

Круто повернув коня, я поскакал домой.

В тот же день я отдал приказ по дивизии, где объявил выговор командиру Амурского полка за допущенный беспорядок в строю. Полковник Сычев, поддержанный заведующим хозяйством есаулом Гордеевым, пьяницей и плохим офицером, пытался вызвать неудовольствие полка против меня, стараясь внушить офицерам и казакам, что я оскорбил полк и в лице его все амурское казачество, что я сам не казак, а потому и обижаю казаков, – одним словом, раздался тот припев, который впоследствии напевали так часто вожди «самостийного» казачества. Как только я узнал о недопустимых действиях командира полка и его помощника, я без лишних слов отдал приказ об отрешении обоих от должности и предписал им в тот же день выехать из пределов дивизии. Приехав в Амурский полк, я собрал офицеров, разъяснил им дело и высказал свой взгляд на вещи. В командование полком я приказал вступить Полковникову (в этой должности он был впоследствии утвержден по ходатайству генерала Крымова), а о действиях полковника Сычева и есаула Гордеева приказал командиру 2-й бригады, генералу Железнову, произвести расследование для предания их суду.

После этого дня никаких революционных демонстраций в частях дивизии не было, несмотря на то что в самые ближайшие дни в Нерчинском казачьем полку произошел случай, который, казалось бы, мог дать к этому более чем достаточный повод. В числе других офицеров Нерчинского полка состоял прикомандированный к полку, недавно произведенный в офицеры, почти мальчик, корнет Зорин. Чрезвычайно нервный и впечатлительный, он болезненно переживал все происходившее в армии. Как-то ночью, будучи дежурным по полку, он, обходя расположение полка, услышал в одной из изб шум и крики. В ту минуту, как, отворив дверь, он готовился переступить порог, на него из сеней выскочил какой-то казак и, толкнув его, пытался проскочить в дверь. Ошеломленный неожиданностью, вообразив, что на него нападают, корнет Зорин выхватил револьвер и выстрелил в казака, убив его наповал. Через минуту все разъяснилось. Оказалось, никто нападать на офицера не хотел, казаки пьянствовали в избе и, услышав снаружи шаги и опасаясь быть застигнутыми в неурочный час, бросились врассыпную, один из них и наткнулся на входящего Зорина. Несчастный Зорин, опомнившись, едва сам не покончил самоубийством. Я узнал о происшествии рано утром и немедленно поехал в полк. Дознание было уже закончено. Из него явствовало, что офицер не имел никаких оснований употребить оружие. Вместе с тем со стороны казаков было явное нарушение внутреннего порядка. Я собрал полк и тут же объявил свое решение: «Корнет Зорин предается суду за употребление оружия без достаточных к тому оснований. Командиру сотни, где был беспорядок, объявляется выговор, вахмистр и взводные разжалуются». Одновременно я откомандировал корнета Зорина в его родной полк, дабы дать возможность разобрать его дело в более беспристрастной обстановке. Тут же я сделал полку горячее конное учение и, поблагодарив казаков, вернулся в штаб. Похороны казака, за гробом которого шли все офицеры во главе с командиром полка, прошли совсем спокойно, и случай этот никаких последствий не имел.

30 марта вернулся генерал Крымов, назначенный командиром 3-го конного корпуса, вместо графа Келлера.

Первые шаги Александра Ивановича Гучкова в роли военного министра ознаменовались массовой сменой старших начальников – одним взмахом пера были вычеркнуты из списков армии 143 старших начальника, взамен которых назначены новые, не считаясь со старшин-

ством. Мера эта была глубоко ошибочна. Правда, среди уволенных было много людей недостойных и малоспособных, сплошь и рядом державшихся лишь оттого, что имели где-то руку, но тем не менее смена такого огромного количества начальников отдельных частей и высших войсковых соединений одновременно и замена их людьми чуждыми этим частям, да еще в столь ответственное время, не могли не отразиться на внутреннем порядке и боеспособности армии.

От генерала Крымова я узнал подробности кровавых кронштадтских дней, стоивших жизни лучшим офицерам балтийского флота, погибшим от руки матросов. Генерал Крымов, повидавши Гучкова, М.В. Родзянко, Терещенко и других своих политических друзей, вернулся значительно подбодренный. По его словам, Временное Правительство, несмотря на кажущуюся слабость, было достаточно сильно, чтобы взять движение в свои руки. Необходимость этого якобы в полной мере учитывалась членами Временного Правительства. Главной поддержкой Временного Правительства, помимо широких кругов общественности и значительной части армии, должны были быть, по мнению генерала Крымова, казаки. На казачество возлагал он огромные надежды и прямо объявлял, что «теперь надо делать ставку на казаков». Желая сохранить в своем командовании родную дивизию и решив «ставить на казаков», генерал Крымов выхлопотал включение в состав 3-го конного корпуса Уссурийской конной дивизии взамен доблестной 12-й кавалерийской дивизии.

С утверждением генерала Крымова командиром 3-го конного корпуса я назначался на должность начальника Уссурийской конной дивизии.

Надежд, возлагаемых генералом Крымовым на казаков, я не разделял. Прожив детство и юность на Дону, проведя Японскую войну в рядах Забайкальского казачьего полка, командуя в настоящую войну казачьим полком, бригадой и дивизией, в состав коих входили полки трех казачьих войск, – я отлично знал казаков. Я считал, что они легко могут стать орудием в руках известных политических казачьих кругов. Свойственное казакам испокон стремление обособиться представляло в настоящую минуту, когда значительная часть армии состояла из казаков, а казачьи части были вкраплены в целый ряд регулярных дивизий, немалую опасность.

Я считал, что борьба с развалом должна вестись иными путями, не ставкой на какую-либо часть армии, а дружным единением верхов армии и сплоченностью самой армии. Но генерала Крымова трудно было переубедить. Он весь был увлечен новой идеей. Это с места учли некоторые элементы – в полках стало заметно среди офицеров деление на казаков и неказачьих. В Нерчинском казачьем полку, где особенно было много офицеров, переведенных из регулярных частей, этот вопрос стал наиболее остро. Несколько офицеров подали рапорта о переводе их в регулярные части.

Я решил откровенно переговорить с генералом Крымовым:

«Я не разделяю, Александр Михайлович, возлагаемой вами надежды на казаков. Дай Бог, чтобы я ошибался. Во всяком случае, раз вы делаете эту ставку, то следует избегать всего, что так или иначе может помешать. Сам я не казак, большую часть службы провел в регулярных частях, едва ли при этих условиях я буду полезен делу как ваш ближайший помощник...»

Генерал Крымов, видимо, понимал меня и не особенно удерживал. Он предложил написать военному министру и начальнику штаба Верховного Главнокомандующего, ходатайствуя о предоставлении мне в командование регулярной дивизии.

Попрощавшись с Приморским драгунским и родным Нерчинским полком, устроившим мне горячие проводы, я 5 апреля, в первый день Пасхи, выехал в Петербург.

Первые шаги нового правительства

Я застал Петербург необыкновенно оживленным. С раннего утра и до поздней ночи улицы города были наполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины.

Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утерев прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременно занятием «революционного народа», а так как со времени «свобод» улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой. С большинства аптек и вывесок придворных поставщиков, в стремлении уничтожить «ненавистные признаки самодержавия», толпой в первые дни революции были сорваны орлы, и отсутствие на привычных местах вывесок производило впечатление какого-то разгрома.

В Таврическом дворце, городской думе, во всех общественных местах, на площадях и на углах улиц ежедневно во все часы шли митинги. Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом, в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами, какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь заняты были речами членов Временного Правительства, членов совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология «бескровной революции», провозглашение «продолжения борьбы до победного конца» (до «мира без аннексий и контрибуций» тогда еще не договорились), восхваление «завоеваний революции». Спасать Россию уже не собирались, говорили лишь о спасении «завоеваний революции». Формула эта стала наиболее ходячей, и в невольном стремлении сделать ее более удобоваримой договорились до «спасения революции», получилось что-то безграмотное и бессмысленное.

Борьба между Временным Правительством и советом рабочих и солдатских депутатов продолжалась. Надо отдать справедливость левым элементам, они действовали решительно и определенно шли к намеченной цели. Временное Правительство, в правой его части, наоборот, все время явно избегало решительных действий и слов, искало «компромисса» и подыгрывалось под «революционную демократию»... В то время как «широкая амнистия» покрыла не только бывших революционеров, но и явных агентов германского генерального штаба; в то время как прибывшие во главе с Лениным прямо из Германии большевики, среди бела дня, захватив дом балерины Кшесинской на Каменноостровском проспекте, обращались с балкона к толпе слушателей, призывая их к позорному миру, и Временное Правительство не смело их арестовать, – в Петропавловскую крепость заключались бывшие министры, сановники и другие лица, лишь потому, что они не угодны революционной демократии. В то время как левая печать открыто вела разлагающую армию пропаганду, правые газеты конфисковались и закрывались. В Крыму, по приказанию Временного Правительства, распоряжением полковника Верховского, производились обыски у членов Императорской Фамилии.

Не избежала обыска и престарелая Императрица Мария Феодоровна. Агенты вошли к ней в спальню и шарили в Ее вещах, невзирая на то, что Императрица находилась в постели. Одновременно с обыском у членов Императорской Семьи подвергся обыскам и ряд частных лиц, проживающих в Ялте, в том числе и моя жена. У нее отобрали мои письма, в которых, конечно, ничего найти не могли.

Те, кто вчера обвинял старое правительство в слабости, произволе и неспособности справиться с разрухой, сегодня, ставши у власти, сами оказались не в силах вести страну. Маниловы или Хлестаковы, они дальше красивых и звучных слов идти были неспособны и, неизбежным ходом событий, должны были уступить власть более действенным силам.

20 апреля впервые произошло выступление красной гвардии – вооруженных заводских рабочих. Правительство не решилось двинуть против них войска. Отдельные столкновения красной гвардии с толпой на углу Михайловской и Невского стоили нескольких жизней. Во время столкновения я находился как раз в «Европейской» гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади; нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучки грязных оборванных фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками, с пением «Интернационала» двигались посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры – ясно было, что в большинстве решительные меры правительства встретили бы только сочувствие.

Я пешком по Мойке прошел в дом военного министра, дабы повидать полковника Самарина, начальника кабинета А.И. Гучкова. У него я застал полковника Барановского (занявшего впоследствии этот пост при Керенском). Я поделился с ними только что виденным и выразил недоумение по поводу бездеятельности военных властей.

«Правительство не может допустить пролития русской крови, – ответил мне Самарин. – Если бы по приказанию правительства была бы пролита русская кровь, то вся моральная сила правительства была бы утеряна в глазах народа».

Я понял, что нам больше говорить не о чем...

На другой день совет рабочих и солдатских депутатов объявил, что войска не могут быть выведены из казарм, если приказ военных властей не будет скреплен согласием совета. 5 мая состоялись грандиозные манифестации верных правительству частей, имевших целью поддерживать правительство против советов. Манифестация эта произошла без всяких столкновений и еще раз ясно показала, что революционная демократия поддерживается далеко не всеми. Но и на этот раз бездарная и безвольная власть не сумела этим воспользоваться.

Нужно сказать правду, что, за исключением социалистических элементов, с одной стороны, и отдельных лиц, главным образом из военных – с другой, бездарность и безволие проявляло в равной мере все общество. Растерянность, безразличие, столь свойственные русским людям, неумение договориться и организовать, какое-то непонятное легкомыслие и болтливость наблюдались кругом. Все говорили о необходимости организовать, все на словах конспирировали, но серьезной работы не было. Пробовали организовать и офицеры; но если вновь возникший союз офицеров в ставке, в непосредственной близости фронта и под руководством генерала Алексеева и генерала Деникина и вел полезную и действительную работу, то в Петербурге его работа велась в атмосфере, могущей лишь только подорвать престиж армии.

С первых же дней среди членов союза возникла группа «приемлющих революцию», решивших на этой революции сделать свою карьеру. Одним из главных действующих лиц в этой группе был генерального штаба полковник Гущин, донской казак, товарищ мой по академии генерального штаба. С ухватками дурного тона фата, полковник Гущин, читавший в это время лекции в академии генерального штаба, в первые же революционные дни появился на кафедре разукрашенный красным бантом и, с пафосом обращаясь к слушателям, заявил: «Маска снята, перед вами офицер-республиканец». В петроградском союзе он вел самую недостойную демагогическую игру. Обращаясь в своих речах к солдатам, он от имени русского офицерства просил солдата «не отталкивать от себя во многом виноватого перед ним русского офицера». Он говорил трескучие речи, бил себя в грудь и гаерствовал...

«Поставившим на революцию» оказался и бывший мой однополчанин, а в это время начальник 1-й кавалерийской дивизии, генерал Бискупский. Лихой и способный офицер, весьма неглупый и с огромным честолюбием, непреодолимым желанием быть всегда и всюду первым, Бискупский был долгое время в полку коноводом, пользуясь среди товарищей большим влиянием. Он женился на известной исполнительнице романсов, Вяльцевой, и долго сумел скрывать этот брак, оставаясь в полку. Такое фальшивое положение все же продолжаться

не могло, и за два года до войны Бискупский полковником ушел в отставку. Он бросился в дела, основывал какие-то акционерные общества по разработке нефти на Дальнем Востоке, вовлек в это дело ряд бывших товарищей и, в конце концов, жестоко поплатился вместе с ними. Овдовев, он поступил в Иркутский гусарский полк и, быстро двигаясь по службе, через два года войны командовал уже дивизией. В Петербург он попал делегатом в совет солдатских депутатов от одной из армий. Он постоянно выступал с речами, по уполномочию совета совместно с несколькими солдатами ездил для переговоров с революционным кронштадтским гарнизоном и мечтал быть выбранным председателем военной секции совета. Как и следовало ожидать, из этого ничего не вышло, выбранным оказался какой-то фельдшер, и Бискупский вскоре уехал из Петербурга.

Я жил в Петербурге, ожидая назначения в армию. Близко присматриваясь ко всему происходящему, я видел, что лишь твердой и непреклонной решимостью можно было положить предел дальнейшему развалу страны. Ни в составе правительства, ни среди окружавших его общественных деятелей человека, способного на это, не было. Его надо было искать в армии, среди немногих популярных вождей. К голосу такого вождя, опирающегося на армию, не могла не прислушаться страна, и достаточно решительное заявление его, опирающееся на штыки, было бы выполнено. Считаясь с условиями времени, имя такого вождя должно было быть достаточно «демократичным». Таких имен я знал только два: известного всей армии, честного, строгого к себе и другим, твердого и храброго командующего IX армией генерала Лечицкого и любимого войсками, героя карпатских боев, недавно совершившего легендарный побег из вражеского плена генерала Корнилова. Первый, не примирившись с новыми порядками, только что оставил армию и жил в столице частным лицом; второй, в описываемое время, стоял во главе Петроградского военного округа, и это положение его было для дела особенно благоприятным.

Военная организация в столице, располагавшая хотя бы небольшими военными силами и могущая выступить в нужную минуту, казалась мне для успеха дела совершенно необходимой. Ко мне обращался ряд лиц частью из существующих уже военных организаций, частью находящихся в частях столичного гарнизона. Мне скоро удалось войти в связь с офицерами целого ряда частей. На целый ряд этих частей мы могли вполне рассчитывать.

Сведениями своими я решил поделиться со старым однополчанином и другом моим графом А.П. Паленом⁴. Ожидая со дня на день назначения в армию, я предполагал оставить его во главе дела в Петербурге. Граф Пален очень подходил для намеченного дела; он легко мог, не возбуждая особых подозрений, вести свою работу в столице. Он всю жизнь прослужил в гвардии в Петербурге, его знала почти вся гвардия, и среди офицеров Петроградского гарнизона он пользовался общим уважением. Вместе с тем его сравнительно небольшой чин, свойственная ему молчаливость и замкнутость давали возможность рассчитывать, что ему удастся вести работу с достаточной скрытностью.

В помощь нам мы привлекли несколько молодых офицеров. Нам удалось раздобыть кое-какие средства. Мы организовали небольшой штаб, прочно наладили связь со всеми военными училищами и некоторыми воинскими частями, расположенными в столице и пригородах, организовали ряд боевых офицерских дружин. Разведку удалось поставить отлично. Был разработан подробный план занятия главнейших центров города и захвата всех тех лиц, которые могли бы оказаться опасными.

Неожиданно, в первых числах мая, генерал Корнилов, окончательно разойдясь с советом, оставил свой пост. Он принял только освободившуюся VIII армию, стоявшую на границе Галиции. Среди имен его заместителей некоторые называли имя генерала Лечицкого, однако, гене-

⁴ Впоследствии командир корпуса в Северо-Западной армии генерала Юденича.

рал, по слухам, отказывался от назначения. Я решил поехать к нему. Я знал генерала Лечицкого еще с Буковины. Уссурийская дивизия входила в состав его армии, и я был с ним лично достаточно знаком. Генерал Лечицкий жил в Северной гостинице, против Николаевского вокзала. Я просил его принять меня, и он назначил мне в тот же вечер время для разговора. Я изложил ему все мои мысли, сказал о том, что удалось мне с графом Паленом сделать за последнее время, и, упомянув о том, что знаю о сделанном ему предложении стать во главе Петербургского военного округа, предложил использовать нашу работу; при этом ввиду ожидаемого моего отъезда в армию я рекомендовал ему графа Палена.

«Все, что вы говорите, совершенно верно, – сказал мне генерал Лечицкий, – мы все так думаем. Но я заместителем генерала Корнилова не буду. Я и из армии ушел, так как не мог примириться с новыми порядками. Я старый солдат. Здесь же нужен человек не только твердый и честный, но и гибкий. Кто-либо более молодой будет, вероятно, подходящее».

Зная генерала Лечицкого, я не сомневался, что он не изменит своего решения.

Заместителем генерала Корнилова был назначен начальник штаба Туземной дивизии генерал Половцев.

Ввиду отхода генерала Лечицкого от всякой деятельности я решил, несмотря на оставление генералом Корниловым чрезвычайно выгодного для намеченного нами дела поста главнокомандующего Петербургским военным округом, все же войти с ним в связь. Другого лица, кроме генерала Корнилова, подходящего для намеченной мною цели, я среди старших военачальников найти не мог.

Генерал Корнилов, уехав в армию, продолжал поддерживать связь с целым рядом лиц в Петербурге. Связь эту он поддерживал через близкого своего ординара, Завойко. Завойко, бывший помещик, кажется, Подольской губернии, последние годы до войны, разорившись на хозяйстве, занялся финансовыми делами. Он был управляющим нефтяной фирмы братьев Лианозовых, директором и членом правлений целого ряда коммерческих предприятий. После переворота он, оставив дела, занялся политической работой. Последнее время, зачислившись в ряды армии, состоял ординарцем при главнокомандующем Петербургским военным округом, а с назначением генерала Корнилова командующим армией, последовал за ним.

Узнав о приезде Завойко в Петербург, я через работавшего со мной и Паленом поручика графа П.П. Шувалова вошел с ним в связь. Мы условились встретиться на квартире Завойко, жившего в то время на Фонтанке, у Семеновского моста. Я приехал с графом Паленом и графом Шуваловым. Завойко произвел на меня впечатление весьма бойкого, неглупого и способного человека, в то же время в значительной мере фантазера. Мы говорили очень мало, почти все время говорил сам Завойко. С моими мыслями он согласился с первых слов. По его словам, так же смотрел на дело и генерал Корнилов. В конце разговора Завойко предложил нам прочесть выпускаемую им в печать краткую биографию генерала Корнилова, корректура которой была прислана ему для просмотра. Биография эта вскоре появилась в армии. Мы условились о дальнейшей связи. В тех пор я несколько раз видел Завойко во время его приездов в Петербург. Как-то раз, зайдя к нему, я увидел сложенные в углу какие-то разноцветные флаги. На мой вопрос, что это такое, он сообщил мне, что армии готовятся к наступлению, что армия генерала Корнилова должна вторгнуться в пределы Галиции. Надписи на замеченных мною флагах – призыв славянским народам Карпато-России к восстанию против австрийского ига, в борьбе за свободу, которую несет им армия русского генерала Корнилова. Надписи были на языках местных галицийских народностей. В этом заказе знамен, в этих надписях сказался весь Завойко...

Предстоящий переход в наступление скоро перестал быть секретом и для широкой публики, да, конечно, и для врага. Новый министр «революционной армии» Керенский беспрерывно метался на фронте, произносил истерические речи и призывал «революционные войска спасать завоевания революции». Маршевые пополнения шли на фронт, неся красные плакаты

с призывами: «война до победного конна», «все на фронт», «лучше смерть, чем рабство» и т. д. Несмотря на «революционный порыв», эти маршевые пополнения большей частью разбежались по дороге.

В середине июня я получил телеграмму за подписью дежурного генерала VIII армии полковника графа Гейдена, коей испрашивалось согласие мое на назначение меня «впредь до освобождения дивизии» командиром бригады 7-й кавалерийской дивизии. Я ответил согласием. Однако проходили дни, все более и более приближался час перехода армии в наступление, а приказа о назначении не было.

18 июня армии Юго-Западного фронта атаковали противника. VIII армия генерала Корнилова вторглась в Галицию, фронт противника был прорван, наши войска овладели Галичем и Станиславовом. Казалось, после долгих месяцев, победа вновь озаряла русские знамена.

Наконец, 30 июня, я получил телеграмму о назначении меня командующим, но не бригадой, а кавалерийской дивизией. Через день я выехал в Каменен-Подольск.

Наступление революционной армии

6 июля я прибыл в Каменен-Подольск. Здесь узнал я последние новости. «Прорыв революционной армии», о котором доносил председателю правительства князю Львову «военный министр», закончился изменой гвардейских гренадер, предательски уведенных с фронта капитаном Дзевалтовским. За ними, бросая позиции, стихийно побежала в тыл вся

XI армия. Противник занял Тарнополь, угрожая флангу и тылу соседней VIII армии генерала Корнилова.

Геройская гибель ударных батальонов, составленных большей частью из офицеров, оказалась напрасной. «Демократизированная армия», не желая проливать кровь свою для «спасения завоеваний революции», бежала, как стадо баранов. Лишенные власти начальники бес- сильны были остановить эту толпу. Перед лицом грозной опасности безвольное и бездарное правительство как будто прозрело, оно поняло, казалось, необходимость для армии иной дисциплины, кроме «революционной». Назначение генерала Корнилова главнокомандующим юго-западного фронта вместо генерала Брусилова, назначенного незадолго верховным главнокомандующим, казалось, подтверждало это.

Я спешил застать генерала Корнилова еще в армии и, не теряя ни минуты, получил в штабе фронта автомобиль, выехал через Черновицы на Коломыю. Со мной ехал поручик граф Шувалов, который должен был остаться при генерале Корнилове для связи его с организацией графа Палена в Петербурге. Я приехал в Коломыю уже к вечеру.

Генерал Корнилов был на фронте, и его ожидали лишь поздно ночью. Я зашел к и. д. дежурного генерала полковнику графу Гейдену с целью получить необходимые мне сведения о моей новой дивизии. По словам полковника графа Гейдена, порядок в дивизии был в общем на должной высоте. Правда, кой-какие недоразумения с командным составом уже имели место; начальник дивизии, начальник штаба и один из командиров полков должны были уже уйти, но в общем части были в полном порядке, офицерский состав отличный, и новому начальнику дивизии, по словам графа Гейдена, взять в руки дивизию будет не трудно.

В дивизию входили: Ольвиопольский уланский, Кинбурнский драгунский, Белорусский гусарский и 11-й Донской казачий полки. Дивизией временно командовал командир 1-й бригады генерал Зыков, а должность начальника штаба исполнял, впредь до назначения нового начальника штаба, генерального штаба полковник фон-Дрейер.

Во время разговора моего с графом Гейденом в кабинет вошел среднего роста молодой человек в модном френче и английской кепке. Полковник граф Гейден нас познакомил. Вошедший оказался комиссаром VIII армии Филоненко. С большим апломбом Филоненко стал высказывать свое мнение о последних операциях, о необходимости немедленного приня-

тия ряда мер, дабы помешать противнику использовать опасное выдвинутое положение VIII армии. Обратившись ко мне, Филоненко начал говорить, что он, как бывший офицер, признает необходимость проведения немедленных мер для укрепления подорванной дисциплины; что он всячески поддерживал генерала Корнилова в его усилиях поднять дисциплину в VIII армии и что он, Филоненко, все время настаивал на назначении генерала Корнилова главнокомандующим юго-западного фронта. Мы вместе вышли и направились в штабную столовую. За обедом Филоненко продолжал с прежним апломбом говорить о военном и политическом нашем положении. Он очень любезно предложил мне помочь удалению из войсковых комитетов моей дивизии тех офицеров и солдат, которые, по моему мнению, оказались бы нежелательными.

Я с трудом нашел в переполненном городе комнату, в которой поместился вместе с графом Шуваловым. Рано утром мне дали знать, что генерал Корнилов вернулся и просит меня к себе.

Генерал Корнилов помещался в верхнем этаже маленького двухэтажного дома поблизости от штаба. Там же наверху жил Завойко. Я зашел к последнему в ожидании приема меня генералом. Я застал Завойко за писанием. Заноса что-то на бумагу, он прихлебывал из стакана чай. Не желая ему мешать, я, взяв переданный мне стакан чая, сел в стороне и взял для чтения какую-то книгу. Однако Завойко, не прерывая писания, стал задавать мне ряд вопросов. «Я могу одновременно делать несколько вещей, – заявил он. – Наш разговор не мешает мне писать». И действительно, продолжая расспрашивать меня и подавая реплики, Завойко, не останавливаясь, быстро набрасывал что-то на бумаге. Кончив, он, видимо довольный своей работой, посмотрел на меня: «Вы, конечно, знаете, что генерал назначен главнокомандующим фронтом. Он поручил мне написать прощальный приказ армии. Желаете прослушать?»

Завойко прочел мне известный приказ генерала Корнилова. Я был чрезвычайно поражен этой способностью так легко, почти не сосредотачиваясь, излагать на бумаге мысли. Мне дали знать, что генерал Корнилов меня ждет.

Я знал генерала Корнилова очень мало, познакомившись с ним год тому назад за Царским столом в Могилеве, куда он прибыл представиться Государю после своего побега из плена. В одном вагоне мы тогда доехали от Могилева до Петербурга. Он нисколько не изменился с той поры; маленький, сухой, смуглый и загорелый, с небольшой бородкой и жесткими черными усами, с лицом заметно выраженного монгольского типа, он говорил выразительными отрывистыми фразами. В нем чувствовался особый порыв, какая-то скрытая, ежеминутно готовая к устремлению сила. Он очень спешил, уезжая через несколько часов в штаб фронта. Я вкратце сообщил ему о том, что известно мне было о положении в Петербурге, дал сведения о моей там работе и предложил использовать графа Шувалова для связи с столицей. Генерал Корнилов тут же приказал зачислить графа Шувалова ординарцем. Генерал пригласил меня обедать, и мы вместе пошли в столовую.

Во время обеда прибыл вновь назначенный командующим армией герой Галича генерал Черемисов. Маленький, худенький, с бегающими черными глазками и приятным, несколько вкрадчивым голосом, генерал Черемисов произвел на меня впечатление живого, неглупого человека. Разговор за обедом велся на общие темы. Генерал Корнилов вспоминал о своей службе в Туркестане, генерал Черемисов рассказывал о последних боях своего корпуса. Вопросы политические совсем не затрагивались.

После обеда генерал Корнилов в сопровождении нескольких лиц выехал на автомобиле в Каменец, я же также на автомобиле отправился в Станиславов, откуда на следующее утро выехал в дивизию, расположенную в 20–30 верстах от города в направлении на Галич.

Дивизия занимала значительный фронт, неся охранение. В резерве находился Белорусский гусарский полк, расположенный в небольшой деревушке, недавно оставленной австрийцами, тут же помещался штаб дивизии. Я просидел с временно командующим дивизией и начальником штаба до поздней ночи, знакомясь с делами.

С утра, приняв доклады и отдав ряд нужных распоряжений, я после обеда намеревался объехать полки, а к восьми часам вечера назначил у себя в штабе совещание командиров частей. Однако и то и другое я не успел сделать. Я осмотрел только гусар и доехал до казаков, как мне дали знать, что генерал Черемисов требует меня немедленно в штаб армии в Станиславов, куда только что штаб перешел. Я вернулся в штаб дивизии и здесь нашел приказание, ввиду общего отхода фронта, моей дивизии немедленно отходить на Станиславов, прикрывая фланг VIII армии. Приказав командиру бригады, вступив в командование дивизией, снимать охранение и двигаться ночным переходом на Станиславов, я на автомобиле выехал в город.

Я прибыл в Станиславов уже в темноте и застал штаб готовившимся к отъезду. Спешно грузились штабные грузовики, снимались телефоны, выносилось канцелярское имущество. Поезд для штаба уже стоял на станции. По всем улицам города тянулись бесконечные обозы, направляясь в тыл.

Генерал Черемисов привез с собой нового начальника штаба и нового генерал-квартирмейстера. Оба были совсем молодые, но обнаружившие большую политическую гибкость офицеры генерального штаба (тогда это качество признавалось имеющим первостепенное значение). Начальником штаба был назначен генерального штаба полковник Меншов, а генерал-квартирмейстером – полковник Левитский. Генерал Черемисов вкратце ознакомил меня с обстановкой: наши армии по всему фронту отходили, не оказывая сопротивления. Противник шел по пятам. Ближайший рубеж, где можно было надеяться задержаться, был река Збруч. Мне приказывалось, объединив командование моей 7-й кавалерийской и 3-й кавказской казачьей дивизией, действовать со сводным конным корпусом в стыке VII и VIII армий, прикрывая их отход и обеспечивая фланги. Тут же генерал Черемисов лично продиктовал мне задание и соответствующее предписание, которое подписал. Я решил, обождав подход головы моей дивизии к городу и лично отдав дивизии необходимые приказания, самому ехать к 3-й кавказской дивизии, оперировавшей в районе Монастержиска, куда я наметил сосредоточить корпус. Пройдя в отведенный мне в гостинице номер, я лег спать.

Среди ночи я был разбужен страшными криками. Через окно было видно небо, объятые заревом пожара. С улицы неслись крики, слышался какой-то треск и шум, звон стекол, изредка раздавались выстрелы. Наскоро одевшись, я вышел в коридор. Навстречу мне шел мой офицер-ординарец. «Ваше превосходительство, в городе погром, отступающие войска разбивают магазины», – доложил он. Я спустился в вестибюль гостиницы. Прислонившись к стене, стоял бледный как смерть старик, кровь текла по длинной седой бороде. Рядом с ним растерзанная и простоволосая молодая женщина громко всхлипывала, ломая руки. Увидев меня, она бросилась ко мне и, говоря что-то непонятное, стала ловить мои руки и целовать. Я подозревал швейцара и спросил, в чем дело; оказалось, что старик еврей, владелец часового магазина, а женщина – его дочь. Солдаты магазин разграбили, и владелец его, жестоко избитый, едва мог спастись. В моем распоряжении никакой воинской силы не было, со мной был лишь один офицер и два гусара-ординарца. Взяв их с собой, я вышел на улицу.

Город горел в нескольких местах, толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов неслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, изломанные картонки, куски материй, ленты и кружева вперемешку с битой посудой, пустыми бутылками из-под коньяка. Войсковые обозы сплошь загрохотали улицы. На площади застряли артиллерийские парки. Огонь охватывал соседние дома, грозя ежеминутно взрывом снарядов. Я с трудом разыскал командира парка и, взяв у него несколько солдат, лично стал наводить порядок. В каком-то магазине мы застали грабителей, занятых опоражниванием ящиков с чайной посудой. Схватив первого попавшегося, я ударом кулака сбил его с ног, громко крича: «Казачи, сюда, в нагайки всю эту сволочь». В одну минуту магазин был пуст...

Через два часа удалось очистить улицу. Обозы тронулись, и артиллерия получила возможность двинуться вперед. На соседних улицах грабеж продолжался. От непрерывного крика я совсем потерял голос.

К шести часам утра на улице показался разъезд, подходил полк польских улан. Я приказал командиру полка, не стесняясь мерами, восстановить порядок. Тут же было поймано и расстреляно на месте несколько грабителей, и к утру в городе было совсем спокойно.

К восьми часам подошла голова моей дивизии. Отдав необходимые распоряжения для дальнейшего следования к пункту сосредоточения корпуса, я с полковником Дрейером и двумя офицерами выехал к 3-й казачьей дивизии. Дивизией командовал генерал Одинцов, бывший командир Приморского драгунского полка. Мы одновременно командовали полками одной бригады более года, и я отлично знал генерала Одинцова. Это был храбрый и толковый начальник, но нравственности низкой – сухой и беспринципный, эгоист, не брезговавший ничем ради карьеры.

В состав дивизии входили: 1-й Екатеринодарский полк, Кизляро-Гребенской, Дагестанский и Осетинский. Наилучшими были первые два, состоящие из кубанских и терских казаков.

Отъехав верст 30, мы разыскали штаб дивизии. Полки дивизии, ведя разведку, были разбросаны на широком фронте. Ознакомившись с обстановкой, я отдал генералу Одинцову необходимые распоряжения и занялся организацией своего штаба. Формировать штаб приходилось за счет обеих дивизий, заимствуя оттуда и личный состав штаба, и средства связи, и канцелярское имущество...

За ужином я познакомился с А.И. Гучковым. Оставив пост военного министра и окончательно разойдясь с правительством, он прапорщиком зачислился в армию и был прикомандирован к штабу 3-й казачьей дивизии. Он поразил меня своим сумрачным, подавленным видом.

Наша конница постепенно отходила, теснимая на всем фронте противником. Одновременно с подходом частей 7-й дивизии было получено донесение о наступлении значительной колонны германцев на Монастержиско, занятое Осетинским конным полком.

В городе находились огромные склады артиллерийского имущества, и штабом армии было приказано при отходе склады эти взорвать. Из штаба армии прибыл с этой задачей в город офицер с подрывной командой. Я кончал обедать, когда пришло донесение о завязавшейся у занимавших Монастержиско осетин перестрелке. Я приказал подать мотор и в сопровождении начальника штаба поехал в город. Мы были от города в 4–5 верстах, когда неожиданно огромный столб пламени и дыма поднялся над Монастержиско. Раздался оглушительный взрыв, затем второй и третий. Огромные столбы пламени взвивались над городом. Было видно, как летят какие-то обломки. В поле бежали вперемешку люди и скот. Оказалось, что, видя приближение противника, офицер саперной команды, присланной из штаба армии, думая лишь о выполнении своей задачи, преступно поджег склады, не предупредив осетин, продолжавших драться на окраинах города. Несколько десятков всадников и сам командир полка пали жертвой этой возмутительной небрежности.

В сумерки противник вошел в город. Я занял позицию в нескольких верстах восточнее. С рассветом наступление возобновилось, скоро бой велся на всем фронте. Весь день корпус удерживал свои позиции. Около 2 часов дня немцам удалось оттеснить Кинбурнцев и захватить занятую ими деревню, угрожая разрезать фронт корпуса. Я приказал дивизиону Кинбурнцев остановить противника в конном строю. Драгуны под начальством ротмистра Стаценко блестящей атакой выбили противника, захватив несколько десятков пленных и пулемет. Положение было восстановлено. С наступлением темноты, оставив на фронте для наблюдения разъезды, я оттянул корпус верст на пятнадцать и, заняв намеченный рубеж, заночевал.

Пехота наша на всем фронте продолжала отходить, не оказывая врагу никакого сопротивления. В день фронт наш откатывался на 20–30 верст. Дисциплина в отходящих частях была совсем утеряна. Войска оставляли массу отсталых и грабили беспощадно по пути своего

следования. Маневрируя в стыке флангов VII и VIII армий, мой корпус держался в переходе впереди, непрерывно ведя арьергардный бой. Я старался все время держаться в непосредственной близости частей, дабы ознакомиться с работой полков, начальниками и солдатами. Переправившись через Збруч, войска задержались и стали устраиваться на занятых позициях, удерживая в районе г. Барщова плацдарм на правом берегу реки. Корпус ночевал в полупереходе к западу от линии реки Збруч. Я находился при 7-й дивизии.

На рассвете я получил донесение, что ночевавшая севернее кавказская дивизия оттеснена противником и, ведя бой, медленно отходит к востоку. Я имел приказание удерживаться на занимаемой линии в течение дня, дабы дать время устроиться пехоте, а с наступлением темноты мне было приказано отойти за реку и стать в резерве командующего армией. Подняв по тревоге дивизию, я вывел ее из деревни и, заняв одним спешенным полком опушку небольшого леса и выставив артиллерию, остальные три полка держал в резервном порядке.

Вскоре пришло донесение о движении в охват правого фланга дивизии, в разрез между нами и кавказцами, бригады неприятельской конницы. Взяв несколько человек из моего конвоя, я выехал вперед и, поднявшись на небольшой холмик, ясно увидел шедшую на рысях в походном порядке колонну конницы. Видно было, как она перестраивалась в резервный порядок. Одновременно батарея противника открыла огонь, и снаряд, прогудев, разорвался за дивизией. Неприятель, видимо, нас заметил, и вскоре пули стали посвистывать около нас. Я поскакал к дивизии, приказал артиллерии открыть беглый огонь и, построив боевой порядок, пустил дивизию в атаку. Противник атаки не принял и, издали увидев развертывающиеся полки, снял батарею и стал быстро уходить. В это время я получил донесение, что в охват моего левого фланга, почти в тыл, движется новая колонна неприятельской конницы силою также в бригаду. Приказав одному полку продолжать преследовать отходящую колонну и отправив генералу Одинцову приказание немедленно перейти его дивизией в наступление, я, повернув батарею на 180°, перенес огонь на новую колонну и, посадив спешенный полк, тремя полками вновь атаковал противника. И на этот раз, не приняв удар, неприятельская кавалерия повернула и стала поспешно отходить. Скоро пришло донесение от начальника кавказской дивизии. Дивизия перешла в наступление, сбила противника и выдвинулась на прежние позиции. В течение дня мы удерживались на месте, ведя перестрелку, противник в наступление вновь не решался переходить.

К вечеру немцы подтянули тяжелую артиллерию и открыли по нашему расположению редкий огонь. Одна из наших батарей, расположенная за небольшой рощицей, слабо отвечала. В рощице стояли спешенные полки 7-й дивизии. Послав генералу Одинцову распоряжение с наступлением темноты оттягиваться к переправам, я проехал к начальнику 7-й дивизии. Лесная дорожка вела к полянке среди леса. У небольшого дома лесника я увидел группу офицеров. Из избы был вынесен стол, скамьи и стулья, и офицеры пили чай. Кругом полянки среди деревьев виднелись кони. Здесь стояла спешенная бригада. Едва я слез с лошади и направился к столу, как послышался характерный гул приближающегося снаряда. Мгновение, и раздался взрыв. Снаряд упал тут же за избой. Послышались стоны, по полянке с сбитым седлом и окровавленным крупом проскакала лошадь. Среди спешенных полков стало заметно движение. Отдельные люди с лошадьми потянулись в лес. Я понял, что еще минута, и начнется беспорядочный отход. В лесу шрапнельный огонь противника не мог быть очень действительным. Необходимо было сохранить порядок. Я скомандовал «смирно» и, сев за стол, потребовал себе чая. Новый снаряд прогудел в воздухе и, ударившись где-то вблизи, разорвался. Один осколок, громко жужжа, упал у самого стола так, что я, не вставая со стула, мог нагнувшись его взять. Я поднял осколок и, повернувшись к ближайшему полку, крикнул солдатам: «Бери, ребята, горяченький, к чаю на закуску» – и бросил осколок ближайшему солдату. В одну минуту лица просветлели, послышался смех, недавней тревоги не осталось и следа.

Выпустив еще два-три снаряда, противник прекратил огонь. Мы потеряли всего два человека и несколько лошадей ранеными. Солнце совсем склонилось к западу, стало смеркаться, и я приказал дивизии начать отход. Полки вытянулись из леса, а я задержался несколько, диктуя какое-то приказание. Окончив, я сел на лошадь и пошел широким галопом, обгоняя колонну. На ходу я благодарил эскадроны и сотни за сегодняшний бой. Едва я поблагодарил первую сотню, как громкое единодушное «ура» прогремело в ответ. Остальные эскадроны подхватили. С этого дня невидимое духовное единение установилось между мною и моими людьми. С этого дня я почувствовал, что полки у меня в руках, что та психологическая связь между начальником и подчиненными, которая составляет мощь каждой армии, установилась.

Это явление мне за мою службу приходилось испытывать не раз. Так, однажды во время усиленной рекогносцировки в Крейцбургских болотах я непреложно и ясно ощутил неожиданно, мгновенно родившуюся эту духовную связь с моим полком. Так впоследствии создавалась эта связь начальника с частями на Кубани и в степях Маныча в гражданскую войну.

Отойдя за реку Збруч, корпус стал в резерв командующего армией в верстах 20 от Каменец-Подольска, где находился штаб армии. На следующий день я получил телеграмму от генерала Корнилова: «Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и солдатам Сводного Конного корпуса, особенно же Кинбурнским драгунам и Донцам мою сердечную благодарность за лихие действия корпуса 12 июля, обеспечившие спокойный отход частей на стыке армий. *Корнилов*».

В резерве нам пришлось простоять всего несколько дней. Несмотря на прекрасные позиции и то, что противник действовал сравнительно небольшими силами, наши части были уже почти неспособны оказывать какое бы то ни было сопротивление. Как-то вечером начальник штаба армии вызвал меня к телефону. Кавказский пехотный полк, прикрывавший переправы у Хотина, оставил свои позиции, и противник мог использовать прорыв, угрожая переправам и самому Каменцу. Штаб армии был в готовности к отъезду, мне приказывалось спешно выдвинуться к месту прорыва и восстановить положение. Через два дня ожидался подход 79-й пехотной дивизии, которая должна была меня сменить и обеспечить Хотинские переправы.

Я по тревоге поднял части корпуса и приказал дивизиям ночным переходом выдвинуться к месту прорыва. При корпусе находился автомобильный санитарный отряд, где имелось до 30 машин. Из штаба армии мне обещали 10 грузовиков. Я использовал все машины для переброски стрелкового полка 7-й дивизии. Отдав все распоряжения и отправив стрелков, я на автомобиле проехал за дивизией. Я застал головной полк спешившимся и перестреливающимся с противником, занимавшим только что оставленную кавказцами деревню. Кавказцы, отойдя версты на четыре, стояли на привале, выставив сторожевое охранение. Вскоре подошла и 3-я дивизия.

Я послал приказание кавказцам наступать и одновременно перешел в наступление спешенной бригадой 7-й дивизии.

Вскоре все поле усеялось нашими наступающими цепями. Противник вел ружейный огонь. Но вот со стороны неприятеля прогремела артиллерия. Дымки шрапнелей взвились над нашей пехотой. Цепи залегли. Еще два, три снаряда, и вдруг я увидел, что на всем фронте кавказского полка цепи отступают. В бинокль видно было, как люди бегут, обгоняя друг друга; отступление обращалось в общее бегство. Я находился на батарее и отдал приказание командиру открыть по бегущим беглый огонь. Батарея дала очередь, попадания были ясно видны. Но люди не только не остановились, но как будто еще быстрее двинулись в тыл. Я поскакал к Ольвиопольским уланам, стоящим в резерве, и приказал командиру полка полковнику Семенову остановить бегущих и пиками гнать их обратно. Семенов развернул полк, и лава улан стала гнать пиками отступающую пехоту, собирая людей, как стадо баранов.

Противник, видимо малочисленный, в наступление не переходил. Наконец я получил донесение, что Кавказский полк собран. Я проехал к полку. Приказал полку отдыхать, а людям выдать обед. Собрав офицеров, поговорил с ними, а затем обошел батальоны, говоря с людьми.

Дав людям успокоиться и прийти в себя, я сам повел полк в атаку. Кавказцы пошли сперва вяло и неуверенно, а затем отлично. Выбили противника из занятой им деревни, захватили 300 пленных и 4 пулемета и освободили наших пленных, взятых утром. К сожалению, во время этой атаки мой штаб сильно пострадал: был ранен старший адъютант штаба дивизии капитан Любимский, два офицера-ординарца, из них один тяжело, и командир радиотелеграфной роты.

«Ну, теперь, Владимир Николаевич⁵, – сказал я начальнику штаба, – за кавказцев мы можем быть спокойны. После такого успеха полк будет драться хорошо».

Однако я ошибся. Среди ночи нас разбудили, сообщив, что кавказцы без всякой видимой причины оставили позиции и отходят в тыл. Пришлось выслать для защиты брошенного кавказцами участка последнюю бригаду. В резерве у меня не оставалось ни одного полка. Я приказал оттянуть на ночь части артиллерии и обозы за переправу, а сам со штабом остался ночевать на правом берегу реки, дабы иметь возможность использовать телефонную сеть со сторожевыми участками. На рассвете нас вновь разбудили. Противник сбил жидкое охранение корпуса. Перестрелка шла уже в занятой нами деревне. Мы быстро оделись и вышли на двор, к нашим лошадям. Бой шел на улицах. Пули все время щелкали по каменному забору и стенам хат. Дорога к переправе была в руках противника. В ворота выехать было уже нельзя. Улица обстреливалась продольным огнем. Мы стали пробираться садом к реке, решив переправиться вплавь. В последнюю минуту кто-то из ординарцев разыскал крестьянина, указавшего нам брод, – удалось переправиться не только конным, но и тележке с офицерскими вещами. Во время переправы у нас был только один раненый.

Наша батарея с левого берега реки открыла огонь. Вправо были видны переправляющиеся вброд части кавказской дивизии. Удерживая левый берег реки, я выделил часть сил и бросил их на усиление второй бригады 7-й дивизии, прикрывающей главную переправу и мост у Хотина. Нам удалось удержать Хотинский тет-де-пон. К вечеру подошла бригада 79-й дивизии, я приказал немедленно генералу Серебрянникову, командиру 2-й бригады 7-й кавалерийской дивизии, перейти в наступление. К девяти часам вечера корпус полностью восстановил положение. На следующий день части корпуса были сменены подошедшей 79-й дивизией и корпус отошел к Каменцу в резерв командующего армией. Отсюда через несколько дней мы перешли далее и стали близ Румынской границы. Я получил от генерала Черемисова телеграмму: «Честь и слава Сводному корпусу. *Черемисов*».

Через несколько дней генерал Черемисов был сменен и место его заступил генерал Соковнин. Одновременно с генералом Черемисовым ушел начальник его штаба полковник Меншов, замененный генералом Яроном.

Генерал Корнилов еще 16 июля был назначен Верховным главнокомандующим.

Корниловские дни

Со вступлением генерала Корнилова в должность Верховного главнокомандующего в армии стала ощущаться крепкая рука. Начальники, почувствовав за собою поддержку сверху, приободрились и стали увереннее, солдаты подтянулись. Целым рядом приказов власть войсковых комитетов была ограничена и введена в известные рамки. Полки, потерявшие всякую дисциплину, стали приходить в некоторый порядок. Воспользовавшись боевым затишьем, я постарался возможно ближе ознакомиться не только с корпусным и дивизионными, но и полковыми комитетами. Состав их оказался в общем не плохой. Я подолгу беседовал с членами

⁵ Дрейер.

комитетов, подчас присутствовал на заседаниях, и постепенно мне удалось направить деятельность комитетов в сторону от политики и привлечь их к чисто хозяйственной работе. После продолжительных боев обмундирование, конское снаряжение и вся материальная часть корпуса сильно поистрепались. Попытки мои получить белье, сапоги и прочие необходимые предметы вещевого довольствия через армейское интендантство оказались тщетными. И вот там, где командир корпуса оказался бессильным чего-либо достичь, корпусной комитет добился, послав куда-то каких-то делегатов добыть для частей все необходимое...

За это время я имел несколько писем из ставки от Завойко. Из них я знал о той борьбе, которую вел генерал Корнилов, настаивавший на срочном проведении в жизнь необходимых для поднятия в армии дисциплины мер – предоставление начальникам дисциплинарной власти, ограничение прав войсковых комитетов, наконец, установление смертной казни в тылу для изменников и дезертиров. Я, со своей стороны, писал несколько раз, указывая на необходимость незамедлительно провести все эти меры, пока еще не поздно и армия не развалилась совсем.

В первых числах августа я получил письмо от Завойко. Он писал о том, что, по-видимому, длительная борьба генерала Корнилова в скором времени увенчается успехом, что в ближайшие дни ожидается проведение в жизнь всех намеченных по усилению дисциплины в армии мер, что в тылу авторитет Верховного главнокомандующего огромный и что недалек уже тот час, когда от имени армии он будет иметь возможность продиктовать свои условия. «Генерал просит Вас, главное, не торопиться и не упрекать нас в бездействии, – заканчивал он свое письмо, – раньше января, февраля никаких решительных выступлений ожидать нельзя...»

10-го или 12-го я неожиданно получил телеграмму с сообщением, что «ввиду предстоящего в ближайшее время нового назначения» я зачисляюсь в распоряжение главнокомандующего Румынским фронтом «с оставлением командующим сводным конным корпусом». Необычная по содержанию телеграмма эта меня немало удивила, и я поручил начальнику штаба вызвать к аппарату из ставки графа Шувалова и справиться, что значит полученное мною сообщение и что это за ожидающее меня назначение. Шувалов отвечал, что в дежурстве ничего не известно, главнокомандующий же находится в Москве, откуда вернется лишь через день, два. Через несколько дней я получил телеграмму от Завойко: «Главномандующий очень доволен вашей работой. Телеграмма вызвана ожидающим вас в ближайшие дни видным назначением». Одновременно пришло приказание ставки о погрузке бригады 3-й кавказской дивизии – Дагестанского и Осетинского полков – для переброски на присоединение к Туземной дивизии в районе станции Дно.

27 августа, имея надобность в каких-то указаниях, я проехал верхом в штаб армии. В штабе я застал большое волнение. Только что получена была телеграмма генерала Корнилова, где он, обращаясь к армии, говорил о «совершившемся великом предательстве...». (Телеграмма Керенского, объявляющая главнокомандующего изменником, была получена несколькими часами позже.) Вместе с тем ставкой приказывалось снять радио и не принимать никаких телеграмм от председателя правительства. Армейский комитет против последнего протестовал, его поддерживал и. д. генерал-квартирмейстера, «приемлющий революций», полковник Левитский. Командующий армией генерал Соковнин и начальник штаба генерал Ярон казались совершенно растерянными. С большим трудом удалось мне получить копию с телеграммы главнокомандующего, причем командующий армией предложил мне не объявлять телеграммы этой впредь до выяснения обстановки и получения указаний от главнокомандующего фронтом генерала Щербачева.

Командующий армией не нашел в себе сил вступить в борьбу с армейским комитетом и отдал приказание полковнику Левитскому «с распоряжением о снятии радио повременить». В то время как я, выйдя из штаба, сидел на лошади, полковник Левитский с торжествующим видом объявил это стоящим тут же представителям армейского комитета. Я не сдержался и

резко заявил полковнику Левитскому, что невыполнение приказа главнокомандующего при настоящих условиях считаю совершенно преступным и что касается моего корпуса, то немедленно по прибытии в штаб отдам распоряжение о снятии радиостанции.

Часов в шесть вечера ко мне заехал генерал Одинцов, он сообщил мне о полученной армейским комитетом телеграмме Керенского, объявляющей Корнилова изменником. По его словам, командующий армией и начальник штаба совсем растерялись и все распоряжения отдает полковник Левитский, поддерживаемый армейским комитетом. Генерал Одинцов совершенно неожиданно предложил мне «поднять по тревоге корпус, арестовать штаб и вступить в командование армией». Я мог только недоуменно развести руками.

Рано утром адъютант доложил мне, что дивизионный комитет 3-й кавказской казачьей дивизии вызывает в дивизию членов дивизионного комитета 7-й дивизии, что в 3-ю дивизию прибыли представители армейского комитета и что генерал Одинцов, по требованию армейского комитета, задержал готовящуюся к отправке на погрузку 2-ю бригаду 3-й дивизии, которая накануне получила указание о направлении в Одессу. Я приказал подать себе автомобиль и поехал в расположение 3-й дивизии. Я застал собранными во дворе штаба дивизии все войсковые комитеты. Председательствовал полковой священник одного из полков о. Феценко, об отозвании которого из дивизии за его попытки к демагогии мною недавно было возбуждено ходатайство. Тут же присутствовал генерал Одинцов и представители от армейского комитета – какой-то молодой человек в кепке и кожаной куртке и вольноопределяющийся одного из кавказских казачьих полков. Меня поразило вид Одинцова: в черкеске, без кинжала, красный, потный и растерянный, он производил какое-то жалкое впечатление.

Войдя в толпу, я поздоровался: «Здорово, молодцы казаки». Казаки ответили. Неожиданно я услышал голос о. Феценки: «Господин генерал, я должен вам заметить, что здесь нет ни молодцов, ни казаков – здесь есть только граждане». Я с трудом сдержался.

«Вы правы, батюшка, – ответил я, – мы все граждане. Но то, что мы граждане, не мешает мне быть генералом, вам священником, а им молодцами-казаками. Что они молодцы, я знаю, потому что водил их в бой, что они казаки, я также знаю, я сам командовал казачьим полком, носил казачью форму и горжусь тем, что я казак». Затем, повернувшись к казакам: «Здорово еще раз, молодцы казаки».

«Здравия желаем, ваше превосходительство», – раздался дружный ответ.

Я сел за стол и, обращаясь к генералу Одинцову, спросил, что здесь происходит. Генерал Одинцов доложил, что обсуждается резолюция, предложенная представителями армейского комитета, выражающая поддержку Керенскому, телеграмма которого была прочитана представителями армейского комитета.

«Отлично, – громко сказал я, – а телеграмму генерала Корнилова вы читали?» Тут вмешался господин в френче: «По постановлению армейского комитета эта телеграмма объявлению не подлежит».

«Я получил эту телеграмму от командующего армией, она передана мне под мою личную ответственность. Я не считаю возможным скрыть ее от моих войск. Ответственность за это всецело принимаю на себя». Я вынул телеграмму. Члены армейского комитета пытались протестовать, но из толпы послышались возгласы: «Прочитать, прочитать». Я прочел телеграмму.

«Теперь вы знаете, казаки, все. Верю, что вы исполните долг солдата и решите по совести и воинскому долгу. Что касается меня, то я, как солдат, политикой не занимаюсь. Приказ моего главнокомандующего для меня закон. Уверен, что и ваш начальник дивизии скажет вам то же самое». Я посмотрел на Одинцова. Он что-то бормотал; глаза бегали во все стороны.

«Я – как мои дети, как мои казаки», – наконец вымолвил он. С превеликим трудом я удержался, чтобы не обозвать его подлецом. Встав и попрощавшись с казаками, направился к автомобилю. В минуту, когда я садился, подбежал Одинцов. «Как же так, как же так, – бормо-

тал он, – я совсем растерялся. Ты с твоим вопросом застал меня врасплох...» Я махнул рукой и приказал шоферу ехать.

После продолжительных разговоров 3-я дивизия вынесла резолюцию поддерживать Керенского, 7-я, до вечера ничего не решив, от резолюции уклонилась. Через день было получено приказание штаба армии – над всеми телеграфами и телефонами устанавливался контроль войсковых комитетов, все приказания начальников вступали в силу лишь по скреплении подписью одного из членов войкового комитета.

Этого я перенести не мог. Сев верхом, я проехал в штаб армии и просил командующего армией меня принять. Я застал генерала Соковнина в саду, где он гулял с начальником штаба и адъютантом. Попросив разрешения говорить с глазу на глаз, я вынул из кармана только что полученное приказание:

«Это приказание, ваше превосходительство, я считаю оскорбительным для начальников. Выполнить его я не могу. Прошу немедленно отчислить меня от командования корпусом...» Генерал Соковнин стал меня уговаривать взять мое решение обратно. Я стоял на своем:

«Я не могу выполнить этого приказа. Ежели вы меня не отчислите, то мне не останется ничего другого делать, как по тревоге поднять 7-ю дивизию и говорить непосредственно с армейским комитетом». Генерал Соковнин, видимо, испугался. Убежденный, что я не останюсь перед выполнением своего решения, и боясь осложнений, он обещал мне тут же переговорить с армейским комитетом. Я прошел в штабную столовую. Через час ординарец принес мне приказание командующего армией, где «разъяснялся» предыдущий приказ. «Разъяснениями этими» пункт приказа о скрепе подписи начальников совсем отменялся. Контроль над войсковой связью все еще оставался. Я, вернувшись в штаб корпуса, приказал телеграфный и телефонный аппараты перенести в свою квартиру. Корпусный комитет не решился прислать ко мне свое наблюдение.

5 сентября был полковой праздник Белорусского гусарского полка. Я решил придать ему особую торжественность, чтобы поднять дух частей, – отправил через границу в Румынию купить вина и выдал по бочонку в каждый эскадрон; из обозов II разряда выписал красные чакчиры. После молебна сказал полку несколько горячих слов, а затем эскадронам был выдан обед. Я прошел по эскадронам, в каждом выпил чарку и говорил с людьми, после чего обедал в офицерском собрании. Играли трубачи, пели песенники, и на несколько часов мы перенеслись мыслями в старую полковую жизнь.

6-го из штаба фронта было получено приказание мне немедленно прибыть в Яссы. Одна бригада кавказской казачьей дивизии была уже отправлена на север по железной дороге, другая получила приказание следовать в район Одессы. Штаб корпуса и 7-я дивизия оставались на месте. Оставив своим заместителем недавно произведенного из полковников генерала Дрейера, я выехал в штаб фронта.

Я не видел генерала Щербачева с самого начала войны – и нашел его значительно постаревшим и, видимо, сильно подавленным. Работа штаба лежала почти исключительно на начальнике штаба генерале Головине, умном и весьма талантливом офицере. В штабе фронта, хотя и в меньшей степени, чем в штабе армии, чувствовались слабость и нерешительность. Разложение наших войск, находящихся в Румынии, коснулось несколько меньше, чем на остальных участках фронта, однако и здесь, в Яссах, солдаты ходили толпами, неряшливо одетые, не отдавали чести и курили на улице. Румынская армия, наоборот, оттянутая в течение предыдущей зимы в тыл, отдохнувшая и реорганизованная под руководством французского генерального штаба, поражала своей выправкой и внешней дисциплиной.

Генерал Щербачев сказал мне, что вызвал меня, зная о том, что я находился в письменных сношениях с генералом Корниловым, и опасаясь, что в связи с последними событиями мне могут грозить осложнения. Здесь, в Румынии, по его словам, я буду в безопасности.

Через два дня после моего приезда в Яссы получена была из ставки телеграмма за подписью начальника штаба о состоявшемся 9 сентября назначении моем, приказом верховного главнокомандующего, командиром 3-го конного корпуса.

Все последнее время я жил под тяжелым нравственным гнетом. Участь генерала Корнилова, самоубийство генерала Крымова, возглавление армии «революционным главноверхом», «заложником демократии» во Временном правительстве, адвокатом Керенским, все события последних дней глубоко потрясли армию. Остановившийся было процесс разложения возобновился, грозя совсем развалить фронт, а с ним и Россию. Однако решение генерала Алексеева принять должность начальника штаба верховного главнокомандующего, казалось, говорило, что не все потеряно. Если генерал Алексеев решил стать начальником штаба «главноверха из Хлестаковых», то, видимо, есть еще надежда на какой-то исход. В минуту, когда я мог ежедневно ожидать ареста, назначение мое командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, корпуса, в состав которого входила родная мне Уссурийская дивизия, казалось мне перстом Провидения. Я не знал, насколько еще уцелели от разложения части корпуса и удастся ли мне взять корпус в руки; не знал, какая участь постигла объединенные графом Паленом офицерские организации в столице. Я решил немедленно ехать в Петербург.

Накануне большевиков

Я прибыл в Петербург утром. Заехав домой переодеться, я отправился в штаб округа. В дверях штаба я столкнулся с генералом Красновым, старым знакомым моим еще с японской войны, последнее время командовавшим 2-й сводной казачьей дивизией. Он был чрезвычайно удивлен, узнав о назначении моем командующим 3-м конным корпусом. Оказалось, что он почти одновременно со мной также допущен ставкой к командованию этим корпусом и уже в командование вступил. В последнее время при массовой постоянной смене лиц командного состава такие недоразумения случались часто. Я ничего не имел против неожиданного осложнения и решил не торопиться с принятием корпуса и предварительно ознакомиться с обстановкой.

Во главе округа стоял только что назначенный на эту должность полковник Полковников, бывший начальник штаба Уссурийской дивизии, последнее время командовавший Амурским полком и с полком участвовавший в движении генерала Крымова на Петербург. Я передал ему о слышанном от генерала Краснова и спросил его, не известно ли ему что-либо. Он ответил мне, что также ничего не знает, что здесь, видимо, недоразумение и так как из двух мое назначение приказом главнокомандующего является последним, то, по его мнению, я и должен принять корпус. Я ответил, что впредь до точного выяснения всего недоразумения я, дабы не ставить генерала Краснова в неловкое положение, в корпус не поеду и буду в Петербурге ждать разрешения вопроса.

От полковника Полковникова узнал я впервые и подробности последних дней генерала Крымова. По словам Полковникова, разрыв председателя правительства с главнокомандующим был для частей корпуса и самого генерала Крымова полной неожиданностью. Телеграмма Керенского, объявляющая генерала Корнилова изменником, стала известна лишь на ст. Дно. По словам Полковникова, прими генерал Крымов в эту минуту твердое решение безостановочно продолжать движение на Петербург, город был бы взят. К сожалению, генерал Крымов, застигнутый врасплох, последнее время сильно изнервничавшийся, переживавший тяжелую семейную драму и в значительной мере утеревший прежнюю решимость, заколебался, стал запрашивать указаний ставки и потерял драгоценное время. Порыв ослаб, полки заколебались, и под влиянием преступной агитации началось брожение. Ближайшие помощники генерала Крымова – безвольный начальник Туземной дивизии князь Багратион и мягкий начальник Уссурийской дивизии Губин – окончательно выпустили части из рук. Через день стало

ясно, что на успех рассчитывать нельзя. Генерал Крымов, к которому, по поручению Керенского, прибыл начальник кабинета военного министра Самарин с предложением отправиться для переговоров в Петербург, решил ехать. Он прибыл к Керенскому, имел с ним чрезвычайно резкий разговор, после которого отправился на квартиру поручика Журавского, бывшего своего ординарца, в последнее время служившего в канцелярии военного министра. Генерал Крымов попросил дать ему бумаги и перо и оставить его одного. Через несколько минут раздался выстрел. Самоубийцу нашли на полу с простреленной грудью. Он оставил письмо на имя жены. На вопрос, что побудило его к такому шагу, он ответил: «Я решил умереть, потому что слишком люблю Родину». Попытка спасти его путем операции оказалась тщетной, к вечеру он скончался.

Я спросил Полковникова, каким образом он, участвовавший в наступлении Корнилова на Петербург, мог быть назначен командующим войсками Петербургского округа. Полковников ответил, что он сам был удивлен назначением, и добавил: «Вот вы же назначены командиром 3-го корпуса и также, вероятно, назначения не ожидали».

Из штаба округа я прошел на Дворцовую набережную в Новый Клуб, чтобы узнать что-либо о графе Палене, участь которого меня сильно беспокоила. Я узнал, что он последние дни из города отсутствовал и вернулся лишь накануне. Вечером я заехал к нему. Оказалось, что в первые дни после разрыва ставки с правительством графу Палену и большинству работавших с ним офицеров пришлось во избежание ареста скрываться; наиболее скомпрометированные бежали из города. За последние дни аресты прекратились, наблюдение ослабло и некоторые скрывавшиеся решили вернуться. Граф Пален укрывался в окрестностях города в имении Всеволожского «Рябово». По словам Палена, движение Крымова на Петербург застало его организацию совершенно врасплох. Конфликта правительства со ставкой в эти дни никто не ожидал, и в предвидении его ничего сделано не было. Уже после разрыва к Палену прибыл какой-то неизвестный ему полковник, отказавшийся себя назвать и не предъявивший никаких документов. Полковник якобы был послан Крымовым и имел целью предупредить о движении последнего на Петербург. Граф Пален, опасаясь провокации, в переговоры с полковником вступить отказался. Он и поныне не знал, была ли это провокация или нет.

На другой день утром ко мне заехали командир Приморского полка полковник Шепулов и Нерчинского Маковкин. Они накануне в Царском, где стояла дивизия, узнали о моем назначении и приезде в Петербург и поспешили навестить меня. Узнав, что назначение мое еще под сомнением, они просили меня не отказываться от корпуса, и мне пришлось это обещать. Они не скрывали, что в корпусе сильное разложение, в некоторых полках казаки арестовывали офицеров. Вместе с тем, по их словам, дух в частях и порядок можно было еще поднять. Они объяснили неудачу генерала Крымова теми же причинами, что и Полковников, однако роль последнего, по их словам, рисовалась несколько иначе.

Вечером Полковников позвонил мне по телефону и просил зайти в штаб округа. От него я узнал, что «по условиям политического момента и ввиду моей политической фигуры» военный министр Верховский не находит возможным назначение меня командиром корпуса, расположенного в окрестностях столицы, что «верховный главнокомандующий» с ним согласился и что мне будет предложено другое назначение. Я ответил, что никакого другого назначения не приму и буду ходатайствовать об увольнении меня в отставку. Полковников заметил, что увольнение в отставку старших начальников ныне не производится и что имеется приказ военного министра, запрещающий возбуждение таких ходатайств. Я заехал к Самарину, который также утверждал, что отставку мне получить не удастся. Оставалась ставка. Нового начальника штаба верховного главнокомандующего, генерала Духонина, я совсем не знал. Генерал-квартирмейстер и дежурный генерал были также новые и неизвестные мне лица, но помощником начальника штаба по гражданской части состоял В.В. Вырубов, товарищ мой по студенческим

годам и одновременной службы вольноопределяющимся, моей – в Конной Гвардии, а его – в Кавалергардском полку. Я послал ему телеграмму, прося помочь мне получить отставку.

Утром мне дали знать, что прибывший в Петербург главнокомандующий северным фронтом генерал Черемисов желает меня видеть и просит приехать к двенадцати часам дня в Зимний дворец, где он должен быть в это время у Керенского. После Каменца я видел генерала Черемисова впервые. Генерал Черемисов предложил мне зачислиться в его распоряжение и ехать с ним в Псков. Я благодарил его за предложение и сказал, что твердо решил службу оставить.

В тот же день я получил телеграмму генерала Духонина, вызывающего меня в ставку.

По приезде в Могилев я явился к генералу Духонину. Я видел его впервые. Среднего роста, полный, румяный, с густыми выющимися черными волосами, чрезвычайно моложавый, он производил впечатление очень мягкого, скромного человека. Он стал уговаривать меня отменить мое решение, доказывая, что при настоящих условиях долг старших начальников – оставаться в армии, что только их присутствие в армии еще дает возможность бороться с развалом. Я твердо стоял на своем. В тот же день я подал на имя генерала Духонина рапорт. Я писал, что, будучи назначен командиром 3-го корпуса, к командованию корпусом допущен не был. Ввиду всей прежней моей службы, причину этому могу видеть лишь в моих политических убеждениях «не всем угодных», что «убеждений своих никогда не менял и в угоду кому бы то ни было менять не буду», и ходатайствовал об увольнении меня в отставку.

Через несколько дней генерал Духонин передал мне через Вырубова, что «верховный главнокомандующий» не нашел возможным увольнение в отставку одного из старших кавалерийских начальников. Еще через несколько дней мне была предложена должность командующего войсками Минского округа, на что я, конечно, ответил отказом.

Я попал в довольно странное положение: дела у меня не было и в то же время я не мог располагать собой. Я решил ждать, не принимая, во всяком случае, никаких назначений. Мне с каждым днем становилось яснее, что ежедневно увеличивающийся в армии развал уже остановить нельзя.

Я поселился в вагоне Вырубова. Сам Вырубов жил в верхнем этаже дворца. Жуткое чувство охватило меня, когда я впервые зашел к нему в кабинет. Здесь год тому назад видел я Государя. Комната с тех пор почти не изменилась. Вагон, в котором я жил, принадлежал когда-то Великому Князю Сергею Михайловичу и был оборудован с большим комфортом. Я выписал двух своих лошадей и ежедневно делал большие проезды. Обедал и ужинал я обыкновенно вместе с Вырубовым у общего приятеля нашего графа К.А. Бенкендорфа, брата убитого моего однополчанина и друга, и племянника гофмаршала. Граф Бенкендорф состоял при военных представителях иностранных держав. Мы проводили длинные осенние вечера в бесконечных злободневных спорах. В этих спорах Вырубов неизменно подвергался нападкам нашим за соглашательство и «компромиссную политику». Мне показалась бы совершенно абсурдной в то время мысль, что Бенкендорф через два года окажется в Грузии дипломатическим представителем советской власти.

Как-то раз разговор зашел о том, что необходимо реорганизовать армию на новых началах, что без этого оздоровить армию не удастся. По словам Вырубова, этим вопросом заняты были в штабе верховного главнокомандующего. В основу организации предполагалось будто бы территориальное начало, на чем особенно настаивал генерал-квартирмейстер, генерал Дидерихс. Я стал доказывать, что одной территориальной системой ничего не достигнуть, что в настоящих условиях территориальная организация могла повести бы лишь к расчленению армии и с нею и страны и что в то время, как война продолжается, эту организацию практически провести нельзя. По моему мнению, для оздоровления армии, если еще не поздно, необходимо прежде всего, чтобы правительство отказалось от так называемой «демократизации армии» и «революционной дисциплины», чтобы была проведена в жизнь так называемая

«Корниловская программа». При этих условиях я видел возможность начать в армии работу. Пользуясь зимним затишьем и оттяжкой германцами значительных сил на западный фронт, можно было, оттягивая постепенно часть корпусов в тыл, выделить из частей наиболее слабый элемент; остающимися пополнить выделенные в дивизиях ударные батальоны, кои могли быть развернуты в полки и бригады. По этому расчету число пехотных дивизий должно было уменьшиться, сколько мне помнится, вдвое, но зато дивизии эти были бы боеспособны. Выделенные из полков негодные элементы могли бы быть сведены в рабочие роты с особо строгой дисциплиной. Эти роты могли бы употребляться на тыловую службу, и возвращение из них обратно в строй должно было быть допускаемо по прошествии некоторого времени и соответствующей аттестации начальства. Служба в строю, по моей мысли, должна была быть обставлена рядом служебных и материальных преимуществ по сравнению с тыловой. Конечно, все эти меры могли дать соответствующие результаты лишь при условии изменения общего порядка в армии.

Вырубов, как всегда увлекающийся, стал просить меня взять на себя разработку подробно этого вопроса. Я, не придавая этому никакого значения, отшучивался. Однако через несколько дней Вырубов, вновь заговорив об этом, передал мне, что он говорил о моих соображениях Духонину и Дидерихсу и что оба чрезвычайно заинтересовались этим вопросом. Дидерихс просил меня зайти к нему. Через несколько дней генерал Дидерихс повторил приглашение и лично просил меня письменно разработать вопрос. Я взял себе в помощники генерального штаба подполковника Яковлева и дней через десять представил соответствующий доклад.

Гражданская часть (ныне даже вопросы реорганизации армии обсуждали штатские люди) потребовала ряда изменений, однако против главных оснований не возражала. Проект отправили в Петербург. Я, конечно, совсем не верил в возможность проведения в жизнь всех намеченных проектом мер; выдвигая этот проект, я имел в виду другое – возможность войти в связь с многочисленными войсковыми частями и, в частности, с ударными батальонами, составленными из добровольцев, главным образом офицеров. Один такой батальон, под командой подполковника генерального штаба Манакина, находился в ставке. Это была образцовая часть. В случае неизбежного развала армии, быть может, удалось бы сохранить хоть небольшое и организованное крепкое ядро. 16 октября Керенский утвердил представленную Вырубовым докладную записку, в основу которой вошел мой доклад. Дежурству было приказано разработать штаты.

Начальник штаба верховного главнокомандующего и помощник его по гражданской части выезжали на имеющее состояться в Петербурге открытие Предпарламента. Я воспользовался случаем проехать в Петербург. Я помещался с Вырубовым в его вагоне. К обеду пришел генерал Духонин, просидевший у нас часов до десяти, он, видимо, рад был отдохнуть от дел, рассказывал многое из прежней своей службы, с особенным удовольствием вспоминал о времени, когда командовал 165-м Луцким полком. Полк под его начальством имел не мало славных дел, и георгиевские кресты, украшавшие грудь и шею генерала Духонина, говорили об этом.

Первое заседание Предпарламента лишний раз подчеркнуло бессилие власти и отсутствие единения в верхах.

25 октября прогремели в Петербурге первые выстрелы с крейсера «Аврора». Керенский бежал, прочие члены Временного правительства засели в Зимнем дворце под охраной женских батальонов и детей-юнкеров. В столице повторились февральские дни. По улицам шла стрельба, носились грузовые автомобили с вооруженными солдатами.

Ставка эти дни была полна волнения. Бесперывно заседал армейский комитет. Генералы Духонин, Дидерихс и Вырубов не отходили от аппаратов Юза. Стало известно о движении генерала Краснова с 3-м корпусом на Петербург, за ним должны были двигаться еще войска. Но уже через день заговорили об «измене генерала Черемисова». В штабе главнокомандую-

щего северным фронтом уже велась недостойная игра. Генерал Черемисов довольно прозрачно давал окружающим понять, что в ближайшие дни он готовится стать верховным главнокомандующим. Вызванные в Петербург правительством эшелоны были задержаны генералом Черемисовым в пути; казаки Уссурийны стали брататься с большевиками. Еще раз в верхах армии появилась растерянность, нерешительность, предательство и трусость.

В эти дни неожиданно проездом через Могилев прибыл генерал Одинцов. Я не видел его со времени недостойного его поведения в Корниловские дни. Он зашел ко мне сильно сконфуженный. Я узнал, что он получил назначение в Петербург в распоряжение начальника генерального штаба. В то время я далек был от мысли, что через две недели он вернется в ставку предлагать от имени главноверха, прапорщика Крыленко, генералу Духонину сдать пост.

1 ноября Керенский бежал, предав своих товарищей по кабинету, армию и Россию. 5 ноября декретом совнаркома верховным главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. В ставке делали еще потуги сформировать «демократическое правительство», председателем правительства намечался В.М. Чернов. Я сидел у Вырубова, когда доложили о его приходе. Желая избежать встречи с этим господином, я поспешил выйти из кабинета. Одновременно с Черновым прибыл и бывший военный министр генерал Верховский. Я имел случай его видеть, и он произвел на меня впечатление самоуверенного ничтожества.

В день, когда мне стало известным о назначении верховным главнокомандующим прапорщика Крыленко, я решил уехать из армии. Генерал Духонин меня более не удерживал. Получив нужные бумаги, я зашел к Вырубову попрощаться. Я застал его сильно расстроенным, он только что вернулся от Духонина, который получил известие об отданном Крыленкой приказе войскам «вступить в переговоры с противником», при этом

Крыленко телеграфировал Духонину, требуя сдачи должности начальнику гарнизона генералу Бонч-Бруевичу. Бездарный, тупой и на редкость беспринципный, Бонч-Бруевич успел втереться в доверие могилевского совдепа. Генерал Духонин предложил генералу Дидерихсу и Вырубову освободить их от связывающего их слова не оставлять друг друга. Вырубов отказался, решив до конца разделить участь с главнокомандующим, Дидерихс же, хотя и решил остаться, но в качестве «частного человека», заручившись приказом за подписью Духонина об откомандировании в Кавказскую армию. По словам Вырубова, генерал Духонин решил ставку переносить в Киев.

С тяжелым чувством я выехал из армии. Восемь месяцев тому назад Россия свергла своего Монарха. По словам ставших у власти людей, государственный переворот имел целью избавить страну от правительства, ведшего его к позорному сепаратному миру. Новое правительство начертало на своем знамени: «Война до победного конца». Через восемь месяцев это правительство позорно отдало Россию на милость победителя. В этом позоре было виновато не одно безвольное и бездарное правительство. Ответственность с ним разделяли и старшие военачальники, и весь русский народ. Великое слово «свобода» этот народ заменил произволом и полученную вольность претворил в буйство, грабеж и убийство.

Под большевицкой⁶ пятой

После тревожной, нервной жизни в ставке я поражен был найти в Крыму совершенно иную, мирную и, так сказать, глубоко провинциальную обстановку.

Еще с первых дней смуты сюда бежало из Петербурга, Москвы и Киева громадное число семейств. Люди в большинстве случаев богатые и независимые, не связанные службой или покинувшие ее и в большинстве случаев чуждые политической жизни, они внесли с собою в Крым особую атмосферу, столь далекую от политической борьбы и тревожных переживаний

⁶ Так у автора. (Примеч. изд.)

большинства крупных центров России. В окрестностях Ялты проживала после переворота и большая часть Членов Императорской Семьи: престарелая Императрица Мария Федоровна с дочерьми Великими Княгинями Ксенией Александровной и Ольгой Александровной, Великие Князья Николай Николаевич, Петр Николаевич, Александр Михайлович с Семьями. В самой Ялте, Алупке, Симеизе и Гурзуфе жил целый ряд лиц петербургского общества – старых наших знакомых. Все часто виделись между собой. Многие старались перенести сюда привычный уклад петербургской жизни.

Грозную действительность напоминали лишь известия, довольно неаккуратно приходявшие с почтой. Через несколько дней после приезда я узнал из газет о трагической гибели генерала Духонина и бегстве Быховских узников. Изредка доходили сведения о продолжающемся уклоне влево демократической Украинской рады и о зреющей на Дону «контр-революции». В прочность последней я, зная казаков, мало верил, считая, что рано или поздно казачество должно быть увлеченным в революционный вихрь и опомнится, лишь испытав на собственной шкуре прелести коммунистического режима.

Беспечная крымская жизнь продолжалась недолго. Вскоре из северной Таврии пришли первые вести о выступлениях в городах и деревне всякого сброда, спешившего объединиться под красным знаменем. Местами происходили уже погромы помещичьих усадеб.

Будучи как-то по делам имения в Мелитополе, я впервые на Мелитопольском вокзале увидел красные войска; то возвращались после кровавого урока матросы Черноморского флота, разбитые генералом Калединым под Ростовом. С наглыми, зверскими лицами, обвешанные пулеметными лентами и с ручными гранатами у пояса, они беспорядочными кучками пробирались в Севастополь, врываясь в пассажирские вагоны, выбрасывая женщин и детей и избивая станционных служащих.

По примеру Дона и Украины перед лицом надвигающейся красной волны решили организовать, в лице «Курултая», и крымские татары. Вновь сформированное татарское правительство носило коалиционный характер, хотя преобладала «демократическая политика», ярким представителем которой был председатель правительства и военный министр Сайдамет, по примеру господина Керенского также из адвокатов. Сайдамета, кроме демократических элементов, выдвигали еще и туркофильские группы. В распоряжении правительства имелась и горсточка вооруженной силы: занимавший гарнизоны Симферополя, Бахчисарая и Ялты Крымский драгунский полк, укомплектованный крымскими татарами, несколько офицерских рот и, кажется, две полевые батареи. Гарнизон Севастополя и Севастопольская крепостная артиллерия были уже в явно большевицком настроении. В Симферополе, местопребывании Курултая, был спешно сформирован и штаб армии, начальником коего состоял генерального штаба полковник Макуха. Совершенно для меня неожиданно я получил в Ялте телеграмму за подписью последнего, сообщающего мне, что крымское правительство предлагает мне должность командующего войсками. Для переговоров мне предлагалось прибыть в Симферополь. В тот же день в Крыму была объявлена всеобщая мобилизация, долженствующая, по расчетам штаба, позволить в кратчайший срок сформировать целый корпус и развернуть кавалерию в бригаду. Я решил проехать в Симферополь и на месте выяснить обстановку, прежде чем дать какой-либо ответ на сделанное мне предложение.

В Симферополе, столице Крыма, застал я оживление необычайное: шла регистрация офицеров, какие-то совещания, непрерывно заседали разные комиссии. Начальник штаба полковник Макуха произвел на меня впечатление скромного и дельного офицера. Поглощенный всецело технической работой, он, видимо, был далек от политики. Последняя оказалась окрашенной типичной керенщиной: предполагая опереться на армию, штатский крымский главноверх, так же как и коллега его в Петербурге, мыслил иметь армию демократизированную с соответствующими комитетами и комиссарами. С первых же слов моего свидания с Сайдаметом я убедился, что нам не по пути, о чем откровенно ему и сказал, заявив, что при этих

условиях я принять предлагаемую мне должность не могу. Сайдамет учел, по-видимому, бесполезность меня уговаривать и лишь просил до отъезда не отказать присутствовать на имеющем быть вечером в штабе совещании. На этом совещании должен был быть рассматриваем предложенный генерального штаба полковником Достоваловым план захвата Севастопольской крепости. Меня по этому вопросу просили дать заключение. Если бы я еще доселе и колебался в своем отказе принять командование над войсками крымского правительства, то после этого совещания все сомнения мои должны были исчезнуть. Хотя предложенный и разработанный полковником Достоваловым план и был всеми присутствовавшими на совещании военными лицами, в том числе и мною, и начальником штаба полковником Макухой, признан совершенно неосуществимым, тем не менее «военный министр» выслушал присутствующих, заявил, что соглашается с полковником Достоваловым, и предложил начальнику штаба отдать немедленно распоряжение для приведения предложенного полковником Достоваловым плана в исполнение. Наутро я выехал в Ялту.

8 января утром по городу распространились слухи, что ночью произошло столкновение между двумя эскадронами Крымских драгун, расположенных в Ливадийском дворце, и местной красной гвардией, что крымцы отошли в горы и власть в городе захвачена советами. Около полудня от имени советов появились прокламации, указывающие на то, что отныне единственной властью в городе является местный совет, и требующие немедленной сдачи обывателями всякого оружия. Под вечер прибыло в город судно и высадившиеся матросы, руководимые членами местного совета, приступили к повальным обыскам.

Эти обыски не миновали и нас. Часов в девять вечера к нам на дачу на Нижне-Массандровской улице явились человек шесть матросов, обвешанные пулеметными лентами и гранатами, предъявили какой-то мандат и требование допустить их для производства обыска в квартиру. Я отдал приказание их впустить и предоставить полную свободу, наблюдая лишь за тем, чтобы, воспользовавшись обыском, представители «революционного народа» чего-либо не стянули. Все имевшееся у нас оружие еще с утра было надежно спрятано в подвале и на чердаке. Сам я во время обыска, дабы избежать необходимости разговаривать с проходимцами, сел за карточный стол и начал играть в пикет со своим сынишкой, совершенно не обращая внимания на шаривших по столам и комодам матросов. Последние всячески, видимо, старались вывести меня из себя, делая вслух дерзкие замечания, намеренно производя шум и передвигая мебель. Но, убедившись, что ничто не действует, оставили нас в покое. К этому испытанному приему я впоследствии прибегал не раз во время обысков.

Около девяти часов 10 января я проснулся от орудийной стрельбы. От прислуги узнал, что ночью спустились с гор Крымские драгуны, что западная часть города ими занята, что на рассвете из Севастополя прибыли два миноносца, которые и обстреливают город. Одевшись, я вышел на балкон вместе с гостившим у нас братом жены. В городе слышалась сильная ружейная стрельба, часто рвались шрапнели, обстреливалась главным образом центральная часть города. От снарядов значительно пострадали некоторые здания. Два снаряда попало в соседний с нашей дачей дом, а несколько осколков упало у нас в саду.

Около полудня мне пришли доложить, что отряд матросов находится в саду и посты выставлены у входа в усадьбу. Я прошел в сад и увидел человек пятнадцать матросов и вооруженных штатских, столпившихся у балкона.

– Кто здесь старший? – спросил я. Вышел какой-то матрос.

– Вот заявляю вам, что я генерал, а это, – указал я на моего шурина, – тоже офицер – ротмистр. Знайте, что мы не скрываемся.

О нашем присутствии матросы, видимо, уже знали.

– Это хорошо, – сказал назвавший себя старшим, – мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами.

– Мы только с татарами воюем, – сказал другой. – Матушка Екатерина еще Крым к России присоединила, а они теперь отлагаются...

Как часто впоследствии вспоминал я эти слова, столь знаменательные в устах представителя «сознательного» сторонника красного интернационала.

К вечеру крымцы оставили город, с ними бежали очень многие обитатели из живших в занятых крымцами кварталах.

Одиннадцатого января часов в девять утра я был разбужен каким-то шумом. Приподнявшись на кровати, я услышал громкие голоса, топот ног и хлопанье дверей. В комнату ворвались человек шесть матросов с винтовками в руках, увешанные пулеметными лентами. Двое из них, подбежав к кровати, направили на меня винтовки, крича:

– Ни с места, вы арестованы.

Маленький прыщавый матрос с револьвером в руке, очевидно старший в команде, отдал приказание двум товарищам стать у дверей, никого в комнату не пропуская.

– Одевайтесь, – сказал он мне.

– Уберите ваших людей, – ответил я. – Вы видите, что я безоружен и бежать не собираюсь. Сейчас я оденусь и готов идти с вами.

– Хорошо, – сказал матрос, – только торопитесь, нам некогда ждать.

Матросы вышли, и я, быстро одевшись, прошел в коридор и, окруженный матросами, пошел к выходу. В дверях я увидел жавшихся в кучу, плачущих наших служащих. В саду, у подъезда, нас ожидали еще человек десять матросов и с ними недавно выгнанный мною помощник садовника; пьяница и грубиян, он незадолго перед этим на какое-то замечание жены моей ответил грубостью. Я как раз в это время выходил в сад и, услышав, как грубиян дерзил жене, вытянул его тростью. На следующий день он был уволен и теперь привел матросов.

– Вот, товарищи, этот самый генерал возился с татарами, я свидетельствую, что он контрреволюционер, враг народа, – увидев меня, закричал негодяй.

С балкона в сопровождении двух матросов спускался брат моей жены, также задержанный. Пройдя садом, мы вышли на улицу, где ждали присланные за нами два автомобиля; кругом стояла толпа народа. Слышались ругань и свист, некоторые соболезнавали. Какой-то грек, подойдя к матросам, пытался за нас заступиться.

– Товарищи, я их знаю, – показывая на нас, сказал он, – они ни в чем не виноваты и в бою не участвовали.

– Ладно, там разберут, – отстранил его один из матросов.

Мы стали садиться в автомобиль, когда, расталкивая толпу, появилась моя жена. Подбежав к автомобилю, она ухватила за дверцу и пыталась сесть, матросы ее не пускали. Я также пробовал уговаривать ее остаться, но она ничего слушать не хотела, плакала и требовала, чтобы ее пустили ехать со мной.

– Ну ладно, товарищи, пусть едет, – сказал наконец один из матросов.

Автомобили помчались по улице по направлению к молу. Там виднелась большая толпа, оттуда слышались крики. Два миноноса, стоя у мола, изредка обстреливали город. Автомобили остановились у пришвартованного миноносца.

– Вот они, кровопийцы. Что там разговаривать, в воду их, – слышались крики из толпы.

Мне бросились в глаза лежавшие на молу два трупа, кругом стояла лужа крови... Стараясь не смотреть на окружавшие нас зверские лица, я быстро прошел по сходням на миноносец вместе с женой и шурином. Нас провели в какую-то каюту. У дверей остался один матрос, остальные поднялись наверх, на палубу. Почти тотчас же в каюту вошел какой-то человек в морской офицерской форме, но без погон. Он поразил меня своим убитым и растерянным видом. Жена бросилась к нему и стала спрашивать, что с нами будет; он пытался ее успокоить, отрекомендовался капитаном миноносца и обещал сделать все, чтобы скорее разобрать наше дело.

– Вам нечего бояться, если вы невиновны. Сейчас ваше дело разберут и, вероятно, отпустят, – говорил он, но ясно было, что он сам не верил в свои слова...

Шум и топот раздались близ каюты, и толпа матросов появилась в дверях. Они требовали выдачи нас и немедленной расправы. С большим трудом капитану и пришедшим к нему на помощь двум, трем матросам удалось уговорить их уйти и предоставить нашу участь суду.

Через полчаса привели еще одного арестованного – какого-то инженер-полковника. По его словам, он был захвачен также по навету служащего, с которым у него были денежные расчеты. Он больше всего беспокоился об оставленных им дома деньгах и важных документах, которые могли пропасть.

Жуткое, неизъяснимо тяжелое чувство охватило меня. Я привык глядеть смерти в глаза, и меня не страшила опасность; но мысль быть расстрелянным своими же русскими солдатами, расстрелянным, как грабитель или шпион, была неизъяснимо тяжела. Больше всего ужасала меня мысль, что самосуд произойдет на глазах у жены, и я решил сделать все возможное, чтобы ее удалить. Между тем она упросила капитана провести ее в судовой комитет и там пыталась говорить и разжалобить. Наконец она вернулась, конечно ничего не добившись. Я стал упрашивать ее пойти домой.

– Здесь ты помочь мне не можешь, – говорил я, – а там ты можешь найти свидетелей и привести их, чтобы удостоверили мое неучастие в борьбе.

После долгих колебаний она решилась. Я был уверен, что уже больше ее не увижу. Сняв с руки часы-браслет, который она подарила мне невестой и который я всегда носил, я сказал ей:

– Возьми это с собой, спрячь. Ты знаешь, как я ими дорожу, а здесь их могут отобрать.

Она взяла часы и, плача, вышла на палубу. Не прошло и пяти минут, как она вернулась. На ней не было лица.

– Я поняла, все кончено, – сказала она, – я останусь с тобой. На ее глазах только что толпа растерзала офицера.

Ежеминутно ожидая конца, просидели мы в каюте до сумерек. Около пяти часов в каюту вошли несколько матросов и с ними молодой человек в кепке и френче, с бритым лицом, державшийся с большим апломбом. Обратившись к сидевшему с нами полковнику, он объявил ему, что он свободен.

– Вы же, – сказал он, обращаясь ко мне и к моему шурину, – по решению судового комитета предаетесь суду революционного трибунала. Вечером вас переведут в помещение арестованных.

Полковник вышел, но минут через десять мы увидели его вновь. Он горячо спорил с сопровождавшим его матросом.

– Я требую, чтобы мне вернули мои часы и мой бумажник, в нем важные для меня документы, – горячился он.

Матрос казался смущенным.

– Я ничего не знаю, говорил он, – обождите здесь, сейчас приглашу комиссара.

Он вышел.

– Моего освобождения потребовали мои служащие – портовые рабочие. За вас также пришла просить толпа народа, – быстро проговорил полковник, – не беспокойтесь, Бог даст, и вам удастся отсюда выбраться...

Пришел комиссар, и полковник вышел с ним.

Вскоре за нами пришли. Под конвоем красногвардейцев нас повели в здание таможни, где содержались многочисленные арестованные. Было темно, дул холодный ветер, и шел дождь. Толпа разошлась, и мы беспрепятственно прошли в нашу новую тюрьму. В огромной зале с выбитыми стеклами и грязным, заплыванным полом, совершенно почти без мебели, помещалось человек пятьдесят арестованных. Тут были и генералы, и молодые офицеры, и студенты, и гимназисты, и несколько татар, и какие-то оборванцы. Несмотря на холод и грязь, здесь на

людях все же было легче. Хотя все лежали, но никто, видимо, не спал, слышался тихий разговор, тяжелые вздохи. На лестнице стояла толпа матросов и красногвардейцев, и оттуда доносились площадная ругань. Вскоре стали вызывать к допросу. Допрос длился всю ночь, хотя допрашивали далеко не всех. Вскоре вызвали меня. Допрашивал какой-то студент в пенсне, маленький и лохматый. Сперва задавались обычные вопросы об имени, годах, семейном положении. Затем он предложил вопрос, признаю ли я себя виновным.

– В чем? – вопросом ответил я. Он замялся.

– За что же вы арестованы?

– Это я должен был бы спросить вас, но думаю, что и вы этого не знаете. О настоящей причине я могу только догадываться, – и я рассказал ему о том, как побил нагрубившего жене помощника садовника, из мести ложно донесшего на меня.

– Я не знаю, есть ли у вас жена, – добавил я, – думаю, что если есть, то вы ее также в обиду бы не дали.

Он ничего не ответил и, записав мое показание, приказал конвойным отвести меня в камеру арестованных. С утра стали приводить новых арестованных. К вечеру нас собралось человек семьдесят. Между прочими привели старого отставного генерала Ярцева, ялтинского старожила, семидесяти с лишним лет, совершенно больного. К вечеру доставили хорошего нашего знакомого, молодого князя Мещерского, офицера Конно-Гренадерского полка, задержанного при попытке бежать в горы.

Часов около восьми в комнату вошел матрос крупного роста, красивый блондин с интеллигентным лицом; его сопровождали несколько человек, в том числе допрашивавший нас ночью студент и виденный мною на миноносце комиссар.

– Это председатель трибунала, товарищ Вакула, – сказал один из наших сторожей, – сейчас будет вас допрашивать.

«Революционный трибунал» переходил от одного арестованного к другому. Мы увидели, как увели куда-то старого генерала Ярцева, князя Мещерского, какого-то студента, еще кого-то... Товарищ Вакула подошел к нам. Я слышал, как студент, допрашивавший меня накануне, нагнувшись к уху председателя «революционного трибунала», сказал:

– Это тот самый, о котором я вам говорил.

– За что арестованы? – спросил меня последний.

– Вероятно, за то, что я русский генерал, другой вины за собой не знаю.

– Отчего же вы не в форме, небось раньше гордились погонами. А вы за что арестованы? – обратился он к жене.

– Я не арестована, я добровольно пришла сюда с мужем.

– Вот как. Зачем же вы пришли сюда?

– Я счастливо прожила с ним жизнь и хочу разделить его участь до конца.

Вакула, видимо предвкушая театральный эффект, обвел глазами обступивших нас арестованных.

– Не у всех такие жены – вы вашей жене обязаны жизнью, ступайте, – он театральным жестом показал на выход.

Однако вечером нас не выпустили. Оказалось, что мы должны пройти еще через какую-то регистрацию и что из-под ареста нас освободят лишь утром. Вакула, обойдя арестованных, вышел. Через десять минут под окнами на молу затрещали выстрелы – три беспорядочных залпа, затем несколько отдельных выстрелов. Мы бросились к окну, но за темнотою ночи ничего не было видно.

– Это расстреливают, – сказал кто-то.

Некоторые крестились. Это действительно были расстрелы. Уже впоследствии я узнал это со слов очевидца, старого смотрителя маяка, – на его глазах за три дня было расстреляно более ста человек. Трупы их, с привязанным к ногам грузом, бросались тут же у мола в воду.

По занятию немцами Крыма часть трупов была извлечена, в том числе и труп молодого князя Мещерского. Труп старого генерала Ярцева был выброшен на берег в Симеизе через несколько недель после расстрела.

Второй день арестованные ничего не ели. К вечеру принесли ведро с какой-то бурдой и одной общей ложкой. Нам посчастливилось – теще моей удалось через наших тюремщиков прислать нам к вечеру холодную курицу, подушку и два пледа. Мы устроились на полу. Пережитые сильные волнения отразились на старой моей контузии. Своевременно я пренебрег ею и, не докончив курса лечения, вернулся, несмотря на предупреждения врачей, в строй. С тех пор всякое сильное волнение вызывало у меня сердечные спазмы, чрезвычайно мучительные. Последние полгода это явление почти прекратилось, однако теперь под влиянием пережитого болезненное явление повторилось вновь. Всю ночь я не мог заснуть и к утру чувствовал себя столь слабым, что с трудом держался на ногах. Наконец, в одиннадцать часов, нас освободили, и мы пешком, в сопровождении одного красногвардейца, вернулись домой. Я слег немедленно в постель и пролежал целую неделю.

Через несколько дней в городе наступило успокоение. Симферополь, Евпатория, Ялта оказались в руках большевиков. Остатки крымцев скрылись в горы. Более тысячи человек, главным образом офицеров, были расстреляны в разных городах. Особо кровавые дни пережил Симферополь. Здесь было расстреляно огромное число офицеров, в том числе почти все чины крымского штаба во главе с зверски замученным полковником Макухой. Теперь красные войска праздновали победу, всюду происходили торжественные похороны павших красногвардейцев. В Ялте их хоронили в городском саду.

Спеша воспользоваться плодами победы, советы почти еженедельно производили повальные обыски, отбирая драгоценности, белье, верхнее платье. Объявлена была денежная контрибуция, разложенная на наиболее состоятельных лиц. Надо заметить, что все обыски, контрибуции и прочие меры принудительного характера первое время проводились весьма беспорядочно и легко обходились. Так, в списке капиталистов, подлежащих обложению, третьим номером стояла моя теща (первым номером был известный крымский ростовщик, вторым – графиня Мордвинова). Моя теща отказалась что-либо внести и, несмотря на ряд угроз и предупреждений, арестована не была. Проживавшая же в Ялте графиня Толстая, наоборот, поспешила все внести, показала полностью свое имущество, укрыв лишь некоторые драгоценности. Последние она зашила в платье. Об этом донесла ее горничная, и старуха была арестована, последние драгоценности ее были отобраны, и она с дочерью заключена в тюрьму.

На текущие счета был наложен арест, и по ним можно было получать лишь сто рублей в неделю. Между тем вследствие разрушения транспорта и боязни постоянных реквизиций подвоз в город совершенно прекратился и цены на продукты страшно возросли. На сто рублей в неделю, имея большую семью, существовать было совершенно невозможно. Мы прибегали ко всевозможным уловкам, дабы спасти деньги и наиболее ценные вещи. Большинство нашей прислуги были давно служившие у нас и вполне нам преданные. Мы им были отчасти обязаны нашим спасением, ибо они, присоединив некоторых бедняков нашего квартала, которым помогала жена, пришли в день нашего ареста требовать нашего освобождения, и голос их был принят, вероятно, во внимание, как голос «революционного народа». С помощью наших служащих мы надежно спрятали вещи и деньги. Обыски в эти дни производились людьми неопытными, и укрыть вещи не представляло большого затруднения. Деньги мы держали в металлических кронштейнах для портьер. Драгоценности жена зашила в детские куклы; меха, кружева и белье в диванные тюфяки и подушки; оружие свое я закопал в саду. Несмотря на частые обыски, у нас ни разу не были обнаружены все эти вещи.

Мы почти не выходили из дому. Вид улицы с толкающимся «революционным пролетариатом» был настолько противен, что без особой нужды не хотелось выходить. Жили все время под угрозой какого-либо нового несчастья. Особенно тревожные дни переживал город

во время наездов севастопольских матросов. Последние несколько раз приходили на миноносце. В городской думе в эти дни происходили ночные собрания, и неизменно, в связи с этими приездами, производились новые аресты. Дважды приходилось нам не ночевать дома. Предупрежденные через нашу прислугу о готовящихся ночью в нашем квартале арестах, мы с наступлением темноты уходили из дома, ночуя на дальней окраине города у наших знакомых. Их квартал, населенный татарами, был наиболее спокойный.

С приходом большевиков Крым оказался как бы отрезанным от всего мира. Газеты приходили чрезвычайно неаккуратно. Контрреволюционная печать еще не была в России совершенно задушена, и из разрозненных номеров разных газет мы изредка получали сведения о том, что делается в остальной России. Все эти события – позорный Брест-Литовский мир, падение Атаманской власти на Дону и Украинской рады в Киеве, на Крыме совсем не отражались и казались известиями из другого мира. Эти случайные известия чередовались с самыми нелепыми слухами, неожиданно возникавшими и столь же быстро заменявшимися другими. То союзническая эскадра, форсировав Дарданеллы, ожидалась со дня на день в Крыму, то немцы присылали какой-то корпус для захвата южных плодородных губерний. Все эти слухи еще более раздражали нервы.

Мы решили переехать куда-либо в окрестности Ялты, дабы быть дальше от города, где особенно остро чувствовалась пята хама. Жене удалось устроить мне гражданский паспорт, где я значился горным инженером, и мы в конце февраля перебрались в Мисхор. Хотя в ближайшей татарской деревушке Кореизе был также введен советский строй и имелся свой совдеп, но татарское население, глубоко враждебное коммунизму, приняв внешние формы новой власти, по существу осталось прежним. Единственная разница была введенная для покупки продуктов карточная система, весьма стеснительная. Продуктов вообще, с прекращением подвоза из северной Таврии, в Крыму стало очень мало. Мы отпустили большую часть своей прислуги, оставив лишь совершенно верных нам людей, и поселились в маленькой дачке, ведя замкнутую жизнь и почти никого не видя, хотя кругом жило много знакомых.

Императрица Мария Федоровна и прочие Члены Императорской Фамилии были все поселены в имении Великого Князя Петра Николаевича «Дюльбер», где жили под охраной матросов. К ним, конечно, никого не допускали, хотя в марте молодой княгине Юсуповой удалось добиться разрешения видеть мать свою Великую Княгиню Ксению Александровну и бабушку свою Императрицу Марию Федоровну. Юсуповы жили вблизи от нас, и мы часто с ними виделись. От них узнали мы, что команда, охраняющая Императрицу и Великих Князей, относилась к ним с полным уважением и большой внимательностью. Начальник команды, матрос Черноморского флота, проявлял подчас совершенно трогательное отношение к заключенным. По приходе в Крым немцев то же самое подтвердили мне Великий Князь Александр Михайлович и Великая Княгиня Ксения Александровна.

В Мисхоре, Алушке и Симеизе большевицкая пята ощущалась несравненно менее, нежели в Ялте. За два месяца, которые мы прожили в Мисхоре, было всего два-три обыска у некоторых лиц, и то произведенные приехавшими из Ялты красногвардейцами. Мы совершенно избегли обысков.

На страстной неделе распространился слух, что на Украину⁷ двинуты немецкие войска, что Киев и Одесса заняты немцами и что в районе Перекопа идет бой. Слуху этому сперва мало кто поверил, однако в последние дни стали появляться все новые и новые сведения; среди красноармейцев стало заметно беспокойство, многие уезжали. Кажется, в среду или в четверг, выходя из церкви, я встретил только что прибывшего из Ялты графа Ферзена. Он сообщил мне, что в Ялте в прошлую ночь был произведен вновь ряд обысков, между прочим искали и меня, пришли на нашу дачу и едва не расстреляли жившего там князя Гагарина, допытыва-

⁷ Так у автора.

ясь, где нахожусь я. Когда граф Ферзен уезжал из Ялты, к молу подошло какое-то судно, и он видел, как шла погрузка. Говорили, что грузятся семьи комиссаров. Утром татары из Кореиза пришли сказать нам, что из Бахчисарая на Ялту идут немецкие войска. Вечером я отправился с женой в церковь. Подходя к шоссе, мы увидели спешащих к шоссе людей и узнали от них, что через Кореиз проходит немецкая пехота и артиллерия. Действительно, колонна артиллерии, под прикрытием пехоты, и длинная колонна обозов тянулась по шоссе. Трудно было принять за действительность это движение немецких войск на южном побережье Крыма.

Я испытывал странное, какое-то смешанное чувство. Радость освобождения от унижительной власти хама и болезненное чувство обиды национальной гордости.

На Украине и в Белоруссии

Надо отдать справедливость немцам, они вели себя чрезвычайно корректно, стараясь, видимо, сделать присутствие свое для обывателей наименее ощутимым. С их приходом были отменены все стеснительные ограничения, введенные большевиками, – карточная система, закрытие текущих счетов и проч., но обязательное получение пропусков для выезда и въезда в Крым осталось в силе.

Немецкая комендатура оказывала всяческое содействие к восстановлению в правах тех владельцев имущества или квартир, кои были захвачены большевиками. Некоторые из местных большевиков, не успевших эвакуироваться, были по жалобам потерпевших арестованы и заключены в тюрьму немецкими властями. С другой стороны, замешкавшимся в Крыму более видным большевистским деятелям немцы, несомненно, сами давали возможность беспрепятственно убраться восвояси.

На следующий день по занятии Кореиза представители немецкого командования посетили Великого Князя Николая Николаевича в имении «Дюльбер», где находились все Члены Императорской Семьи. Великий Князь Николай Николаевич через состоящего при Нем генерала барона Сталя передал прибывшим, что если они желают видеть Его как военнопленного, то Он, конечно, готов этому подчиниться; если же их приезд есть простой визит, то Он не находит возможным их принять. Приехавшие держали себя чрезвычайно вежливо, заявили, что вполне понимают то чувство, которое руководит Великим Князем, и просили указать им, не могут ли быть чем-нибудь полезны. Они заявили, что Великий Князь будет в полной безопасности и что немецкое командование примет меры к надежной Его охране. Барон Сталь, по поручению Великого Князя, передал, что Великий Князь ни в чем не нуждается и просит немецкую охрану не ставить, предпочитая охрану русскую, которую немцы и разрешили сформировать.

Понемногу улеглись тревожения последних дней, и на пасхальной неделе заметно было давно невиданное в Крыму оживление. Все прятавшиеся по своим дачам, воспользовавшись хорошими весенними днями, повысыпали на пляж, ездили в город и стали собираться друг у друга. Престарелая Императрица Мария Федоровна почти ежедневно приезжала в Мисхор к своему старому другу княгине Долгорукой и подолгу просиживала на берегу моря. Один Великий Князь Николай Николаевич упорно отказывался оставить свой дворец, нигде не бывал и никого не принимал.

С приходом немцев снова стали появляться газеты, главным образом киевские. Переворот на Украине и образование гетманства были для нас полной неожиданностью.

Генерала Скоропадского я знал исключительно близко. Мы провели службу в одной бригаде – я в Конной Гвардии, он – в Кавалергардском полку, где долго был полковым адъютантом. Во время японской войны мы служили вместе во 2-й Забайкальской казачьей дивизии. В 1911 году, прокомандовав недолго Финляндским драгунским полком, он был назначен командиром Конной Гвардии и с полком вместе вышел на войну. Последовательно он командовал нашей

бригадой, а затем 1-й гвардейской кавалерийской дивизией. Во время Августовских боев, осенью 1914 года, я в течение месяца исполнял должность начальника штаба Сводной дивизии, которой командовал генерал Скоропадский.

Среднего роста, пропорционально сложенный, блондин, с правильными чертами лица, всегда тщательно, точно соблюдая форму, одетый, Скоропадский внешним видом своим совершенно не выделялся из общей среды гвардейского кавалерийского офицерства. Он прекрасно служил, отличался большой исполнительностью, редкой добросовестностью и большим трудолюбием. Чрезвычайно осторожный, умевший молчать, отлично воспитанный, он молодым офицером был назначен полковым адъютантом и долгое время занимал эту должность.

Начальники были им очень довольны и охотно выдвигали его по службе, но многие из товарищей не любили. Ему ставились в вину сухость и замкнутость. Впоследствии в роли начальника он проявил те же основные черты своего характера: большую добросовестность, работоспособность и настойчивость в достижении намеченной цели.

Порыв, размах и быстрота решений были ему чужды.

Трудно верилось, что, стоя во главе края в это исключительное по трудности время, Скоропадский мог бы справиться с выпавшей на его долю непомерно трудной задачей. Вместе с тем среди моря анархии на всем огромном пространстве России как будто образовался первый крепкий островок. Он мог бы, может быть, явиться первой точкой приложения созидательных сил страны, и в этом мне хотелось убедиться. Я решил проехать в Киев. Одновременно я хотел побывать в нашем минском имении, оккупированном польскими войсками, управляющий которого писал нам, прося прибыть для решения целого ряда дел.

В Киев я прибыл вечером.

На следующее утро я позвонил во дворец гетмана справиться, когда Скоропадский может меня принять. Мне ответили, что гетман просит меня к завтраку. Скоропадский помещался в бывшем доме генерал-губернатора на Институтской улице. Вход охранялся караулом офицерской роты. Первый этаж был занят канцелярией, верхний занимался гетманом. В приемной мне бросился в глаза какой-то полковник с бритой головой и клоком волос на макушке, отрекомендовавшийся войсковым писарем «Остраница-Полтавец». Он говорил исключительно на «украинской мове», хотя и был кадровым русским офицером. Дежурным адъютантом оказался штабс-ротмистр Кочубей, бывший кавалергард. Мы разговорились. Он рассказал мне о перевороте, о той будто бы бескорыстной помощи, которую оказывают Украине немцы, о популярности Скоропадского. По его словам, в самом непродолжительном времени будет сформирована большая армия, средства на которую обещали немцы. Во главе армии должен был стать военный министр генерал Рагоза, бывший командующий IV армией. Начальником генерального штаба состоял полковник Сливинский, способный офицер, которого я знал по Румынскому фронту. Другие области управления находились в руках лиц, мне большей частью совершенно неизвестных, главным образом связанных с Украиной. Я был чрезвычайно поражен, услышав среди имен членов правительства имя товарища министра иностранных дел Палтова, по словам Кочубея имевшего на гетмана исключительное влияние. Палтов был личностью с весьма темным прошлым, замешанный в чрезвычайно грязных денежных делах, за что временно лишен был камергерского мундира.

Я не успел закончить разговора, как вошел Скоропадский. Мы расцеловались и отправились завтракать. За завтраком разговор имел исключительно частный характер. Скоропадский рассказал о себе, я передал ему о том, что пережила моя семья, вспомнили общих знакомых.

После завтрака мы перешли в кабинет. Скоропадский стал рассказывать о последних событиях на Украине, о работе его по устройению края, о намеченных формированиях армии. «Я очень рассчитываю на тебя, – сказал он, – согласился ли бы ты идти ко мне начальником штаба?»

Я ответил, что, не успев еще ознакомиться с положением дела, не могу дать какого-либо ответа, но что, во всяком случае, мог бы работать исключительно как военный техник.

«Не будучи ничем связанным с Украиной, совершенно не зная местных условий, я для должности начальника штаба, конечно, не годюсь».

Я поспешил повидать всех тех, кто мог мне дать интересующие меня сведения. Все эти сведения только подтвердили мои сомнения. У Сливинского я подробно ознакомился с вопросом формирования армии. Немцы, все обещая, фактически никаких формирований не допускали. Сформированы были лишь одни войсковые штабы и, кажется, одна «хлеборобская» дивизия. Никакой правильной мобилизации произведено не было, да и самый мобилизационный план не был еще разработан. Ни материальной части, ни оружия для намеченных формирований в распоряжении правительства не было.

Я считал, что выступление Америки с огромным запасом живой силы и средств должно было склонить весы победы в сторону наших бывших союзников. Несомненные военные преимущества немцев – блестящая организация, стратегические таланты военачальников и боевые качества войск – в конце концов не могли возместить численного и материального превосходства противника. Единственный шанс немцев мог быть еще лишь в учете элемента времени – ежели бы немцы успели до окончания переброски американских войск сосредоточить на Западном фронте достаточную массу сил и нанести решительный удар прежде, чем противник окажется в силе захватить в свои руки военную инициативу. Это сосредоточение сил могло быть сделано исключительно за счет войск, снятых с Восточного фронта. Перед этой самодовлеющей необходимостью немцы должны были бы, казалось, отказаться от условий Брест-Литовского мира, предоставив русским возможность собственными силами восстановить на родине порядок, обеспечив тем самым базу снабжения в тылу Германии.

С нашей русской точки зрения это могло быть только выгодным. Тяжелое положение Германии давало нам право надеяться на заключение выгодного для нас договора. Что касается моральных обязательств по отношению наших союзников, то от таковых, по моему мнению, Россия была уже давно свободна. За минувший период борьбы она принесла неисчислимые жертвы на общее дело, а участие союзных правительств в «русской бескровной революции» перекладывало ответственность за выход России из общей борьбы, в значительной мере, на иностранных вдохновителей этой революции.

Таким образом, с государственной точки зрения я допускал возможность «немецкой ориентации». Однако я не видел в немецко-украинском союзе необходимых двусторонних преимуществ. Германия, казалось, не могла отрешиться от столь легко давшихся ей только что богатых русских областей и не признавала, что, желая быть всюду сильной, она может оказаться всюду слабой. Украинские же сторонники этого союза не понимали, что они являются лишь слепым орудием германского правительства. Большинство этих сторонников были чужды идеи самостоятельной Украины и видели в создании Украины лишь частичное возрождение Великой России. Но некоторые даже среди ближайших советников гетмана были ярыми сторонниками «щираго Украинства». Германцы усиленно поддерживали украинское самостийничество, и сам Скоропадский, в угоду ли могучим покровителям или в силу «политических соображений», явно играл в «щирую Украину».

Через день после первого моего посещения я обедал у гетмана. После кофе мы просидели, беседуя, до позднего часа. Как и в первый наш разговор, Скоропадский заговорил о том, что надеется на согласие мое ему помочь. Я вновь подтвердил сказанное в первый раз – возможность моей работы в настоящей обстановке лишь как техника:

– Я думаю, что мог бы быть наиболее полезным в качестве военачальника, хотя бы при создании крупной конницы. К сожалению, поскольку я успел ознакомиться с делом, я сильно сомневаюсь, чтобы немцы дали тебе эту возможность. Но это другой вопрос. Я готов взять любую посильную работу, быть хотя бы околodочным, если это может быть полезно России. Я

знаю, что в твоём положении истинные намерения приходится, быть может, скрывать, но не скрою от тебя, что многое из того, что делается здесь, для меня непонятно и меня смущает. Веришь ли ты сам в возможность создать самостоятельную Украину, или мыслишь ты Украину лишь как первый слог слова «Россия»?

Скоропадский горячо стал доказывать мне, что Украина имеет все данные для образования самостоятельного и независимого государства, что стремление к самостоятельности давно жило в Украинском народе, а за последние много лет усиленно работала в этом направлении Австрия, и плоды этой работы несомненно значительны. В конце концов он стал доказывать, что объединение славянских земель Австрии и Украины и образование самостоятельной и независимой Украины, пожалуй, единственная жизненная задача.

— Для меня ещё большой вопрос, куда мне ориентироваться: на Восток или на Запад...

Этот вечер окончательно укрепил меня в моём решении, и на другой же день я начал хлопотать о билетах на Бобруйск и поспешил закончить все мои дела в Киеве.

За эти последние несколько дней, проведенные здесь, я перевидал массу лиц, старых знакомых по прежней моей службе.

Как табунок разбитых охотником куропаток, собиралось сюда со всех сторон России рассеянное, большей частью скрывавшееся после развала фронта русское офицерство. Я не пережил в рядах армии полного развала войсковых частей, и только здесь я отдал себе в полной мере отчет о тех страданиях, лишениях и унижениях, которые пережили за последние месяцы русские офицеры. Бестрепетно выполняя свой долг до конца, большинство офицеров, сплотившись вокруг родных знамен, видело смерть родных частей, предательство и трусость тех самых солдат, которых они ещё недавно водили к победам, злобу и оскорбление со стороны недавних своих подчиненных, с которыми вместе переживали радости и невзгоды боевых дней.

Как-то доложили мне о том, что меня желает видеть полковник артиллерии Влесков. Я принял его и узнал, что он брат бывшего офицера моего Нерчинского полка, сотника Влескова. Сотник Влесков, как не казак, вскоре после переворота перевелся в регулярную конницу и до конца войны служил в рядах Ингерманландского гусарского полка. Полк, как и прочие части армии, развалился, солдаты разбежались, оставалось лишь небольшое число офицеров и несколько старых солдат. Оставшиеся решили пробираться на Украину. На одном из ночлегов на них напал проходивший вблизи большевицкий эшелон. Часть офицеров была убита, лишь немногие успели спастись. Некоторые перед смертью подверглись жестоким истязаниям. У Влескова были перебиты обе руки и ноги и содрана кожа с черепа. Он был подобран полуживой крестьянами, доставившими его в ближайший уездный город. После продолжительной болезни он был перевезен разыскавшим его братом в Киев. Я немедленно поехал навестить его. Блестящий офицер, редкой красоты юноша, Влесков был теперь совсем неузнаваем. Одна рука была по локоть ампутирована, пальцы другой были сведены, передвигаться он мог лишь с помощью костылей. Череп был до сего времени покрыт незажившими рубцами. Я с женой принялись немедленно хлопотать, и нам удалось устроить несчастного в лучший госпиталь. Отличный хирург, профессор Дитерихс, взял на себя о нем попечение. Через несколько месяцев Влесков совсем поправился и даже женился на прелестной девушке, с которой познакомился в госпитале, где она служила сестрой. Много позже, в то время как я во главе дивизии бил большевиков на Кубани, Влесков разыскал меня в одной из кубанских станин. Служить в строю он, конечно, не мог, и я чрезвычайно удивился его приезду. Оказалось, что он прибыл из Киева лишь только за тем, чтобы получить благословение мое, прежде чем вступить в брак.

Пришлось мне помочь и другому моему офицеру, есаулу Кудрявцеву, бывшему доблестному командиру 3-й сотни Нерчинского полка... Один из лучших офицеров полка, благородный, честный и храбрый, он после переворота состоял членом офицерского союза в ставке. С приходом большевиков он должен был бежать и скрываться на Украине, где у него было небольшое имение. С украинскими войсками он дрался против большевиков и во главе офи-

церских дружин вступил в Киев. Назначенный губерциальным старостой Полтавской губернии, он делал все возможное для поддержания в ней порядка. Там застал его гетманский переворот. Чуждый всякой политики, Кудрявцев, сражавшийся в рядах петлюровских войск, счел изменой своему долгу признание новой власти, был смещен с должности и предан суду. Мне удалось добиться прекращения дела.

В Киеве собралась и большая часть офицеров бывшей моей 7-й дивизии. Некоторых не досчитывали, многие успели погибнуть, в числе последних был один из лучших офицеров дивизии, командир эскадрона Белорусского гусарского полка ротмистр Натанзон, доблестно погибший в Киеве в уличном бою. 7-я дивизия должна была формироваться на Украине и так до конна, конечно, сформирована не была. Большинство офицеров дивизии впоследствии перебрались ко мне на Кавказ.

Во время двукратного прихода в Киев большевиков погибло много офицеров, частью в боях, частью захваченных и предательски расстрелянных. Среди последних было много моих товарищей по гвардии: Кавалергардского полка князь Голины, Скалон, Гернгросс, Долгоруков; Конной Гвардии: князь Белосельский и др.

Со всех сторон России пробивались теперь на Украину русские офицеры. Частью по железной дороге, частью пешком через кордоны большевицких войск, ежеминутно рискуя жизнью, старались достигнуть они того единственного русского уголка, где надеялись поднять вновь трехцветное русское знамя, за честь которого пролито было столько крови их соратников. Здесь, в Киеве, жадно ловили они каждую весть о возрождении старых родных частей. Одни зачислялись в Украинскую армию, другие пробивались на Дон, где только что казаки очнулись от большевицкого угара и выбрали атаманом «Царского» генерала Краснова, третьи, наконец, ехали в Добровольческую армию. О последней почти ничего известно не было. Имена генерала Алексеева, Корнилова и Деникина давали основание думать, что начатое ими на Кавказе дело несет в себе зародыши действительного возрождения чести и достоинства России. Однако доходившие с разных сторон сведения представляли добровольческое движение как безнадежные попытки, обреченные заранее на неуспех за отсутствием средств, поддержки широких слоев и отсутствием единства между руководителями.

Однажды я получил приглашение от бывшего командира 2-го конного корпуса князя Туманова приехать к нему на чашку чая. Только что прибывший с Дона генерал-лейтенант Свечин должен был делать у него доклад об обстановке на Дону и Кавказе. Сведения Свечина были мало утешительны. Правда, Дон, испытав ужасы большевицкой волны, ныне опаматовал. Казаки отвернулись от красного знамени, и вновь выбранный атаман генерал Краснов горячо и успешно работал по формированию армии и восстановлению порядка в стране. Однако, по словам Свечина, движение на Дону носило шовинистический характер. Не только старшие начальники, но и младшие офицеры, не казаки, неохотно принимались генералом Красновым. Что же касается Добровольческой армии, то Свечин считал это дело, бывшее и без того безнадежным, ныне, после смерти генерала Корнилова, обреченным на близкий конец. Остатки армии, всего несколько тысяч человек, потерпев на Кубани неудачу, ныне отошли в Донскую область. Ни средств, ни оружия нет. Среди старших и младших начальников будто бы политические разногласия... Доклад Свечина произвел на меня самое тяжелое впечатление, рассеяв немногие надежды.

За эти дни имел я и другую встречу. Как-то раз в то время, когда я только что собирался выйти из номера, в дверь постучали. На мой ответ «войдите» дверь открылась, и я увидел генерала Одинцова, бывшего начальника 3-й Кавказской казачьей дивизии, одного из первых предательски перешедших на сторону красных войск. Делегатом от Крыленко прибыл он в ставку, настаивая на сложении генералом Духониним власти. Теперь совместно с другим предателем Сытиным, бывшим дежурным генералом Румынского фронта и советским «диплома-

том» Раковским он прибыл в Киев в составе «мирной делегации». Я с трудом узнал его в штатском. Нимало не смущаясь, он направился ко мне, протягивая обе руки:

– Здравствуй, я бесконечно рад тебя видеть. Мне говорили, что ты погиб.

Я встал, не протягивая ему руки:

– Очень благодарен за твои заботы. У меня их касательно тебя не было. Я знал из газет, что ты не только жив, но и делаешь блестящую карьеру...

Одинцов горячо меня прервал:

– Я вправе, как всякий человек, требовать, чтобы мне дали оправдаться. Мне все равно, что про меня говорят все, но я хочу, чтоб те, кого я уважаю и люблю, знали бы истину. Гораздо легче пожертвовать жизнью, чем честью, но и на эту жертву я готов ради любви к Родине.

– В чем же эта жертва?

– Как в чем. Да в том, что с моими убеждениями я служу у большевиков. Я был и остался монархистом. Таких как я у большевиков сейчас много. По нашему убеждению, исход один – от анархии прямо к монархии...

– И вы находите возможным работать заодно с германским шпионом Тронким. Я полагаю, что то, что он германский шпион, для вас не может быть сомнением.

– Да и не он один, таких среди советских комиссаров несколько. Но в политике не может быть сантиментальностей и цель оправдывает средства.

– Это все, что ты хотел мне сказать, в таком случае, я полагаю, всякие дальнейшие наши разговоры излишни, – и я открыл перед ним дверь...

Наконец, дела мои были закончены, билеты готовы, и я мог ехать. За два дня до отъезда, часов в десять утра, город был потрясен колоссальным взрывом. За первым последовали еще два. Огромное пятиэтажное здание гостиницы тряслось, как при землетрясении. В верхнем этаже ясно чувствовалось содрогание пола, все стекла полопались. Объятая ужасом публика выбегала на улицу, густые черные клубы дыма заволокли все небо. Взорвались огромные артиллерийские склады на Зверинне, подожженном, как выяснило следствие, большевиками. При взрыве погибло несколько немецких солдат и большое число обывателей. Целая часть города, прилегающая к Зверинну, была снесена; в центре города, на Крещатике, Большой Владимирской и Липках, стекла в большинстве домов полопались. Я видел громадный взрыв артиллерийских складов в Монастержиско, но Киевский взрыв по силе был много значительнее.

Маленький уездный городок Бобруйск, грязный и населенный в значительной мере евреями, оказался чрезвычайно переполненным. Польский корпус генерала Довбор-Муснинского, оккупировавший часть Минской губернии, был только что разоружен германскими войсками, части корпуса подлежали расформированию, и материальная часть передавалась германским властям. В городе располагались штабы польского и немецкого корпусов. Улины пестрели красивыми формами польских улан и серыми тяжелыми фигурами немецкой пехоты.

Здесь, в Белоруссии, немецкая пята была много тяжелее, нежели в Крыму. Немцы спешили взять на учет все средства края, периодически производя тяжелые продовольственные раскладки. Все отрасли производства и торговли подлежали регламентации и строгому контролю, свобода передвижения в крае, въезд и выезд были крайне ограничены. Правда, многие из местных обывателей находили эти стеснения менее тяжкими, чем полный произвол польской оккупации. Но тем не менее этот постоянный надзор и полное стеснение были весьма тяжелы. С течением времени и понятие о законности среди представителей немецких властей в значительной степени пошатнулось. Вследствие ли благоприятной обстановки или в связи с общим падением нравственности, неизбежной в каждой продолжительной войне, среди представителей немецкой комендатуры чрезвычайно развелось взяточничество. Быть может, в этом сказалось и начало общего разложения немецкой армии.

Скоро я перестал уже сомневаться в признаках начала распада немецких войск, столь знакомых всем русским. Среди служащих имения было не мало поляков. Значительное число польских уроженцев оказалось и среди расквартированных в имении немцев. Через моих служащих я скоро осведомился о той пропаганде, которой в значительной мере разъедались еще недавно стойкие немецкие части. Отдельные, подчас самые незначительные признаки не оставляли сомнений, что этот развал уже идет быстрыми шагами.

В конце июля и в начале августа я получил ряд писем. Среди прочих новостей сообщалось о возобновившейся борьбе на Кавказе. Несмотря на пессимистические сведения Свечина, Добровольческая армия, передохнувши на Дону, возобновила борьбу, кубанцы восстали и под прикрытием Дона, казалось, готовится подняться весь Кавказ. В Сибири также разгоралась война. Дела мои в имении были закончены. Остаться безучастным зрителем начинавшейся борьбы было не под силу, и я в начале августа вернулся в Киев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.